

Милорад Павич.
ПЬЯНЫЙ ХЛЕБ.
(...истории любви)

...

ОДИННАДЦАТЫЙ ПАЛЕЦ (Письмо мертвым)

Светлейшему и благородному и всякого почитания и восхваления достойному Господину Князю и всем господам дубровницким и моему верному и дорогому другу Бернарду Ришарди мой поклон. Желаю вам, по милости Божьей, радоваться и крепить свою власть. Я, Кувеля Грек, находясь между двумя крестами и между двумя мечами, пишу по вашему повелению из города Нови, 6 апреля 1667 года.

Ваша светлость, хотя чёрта никто не видел, люди добрые сумели его себе вообразить, а вы не удивляйтесь, что это письмо совсем не такое, как прежние мои письма. Кто умеет перекреститься, тот и саблю получит, а если вам мое письмо сначала покажется смешным, то вы себе смейтесь на здоровье, немного смеха за ушами никогда не повредит, а вот от громкого смеха воздерживайтесь, не то пропадет голод и вы не сможете есть. В нужное время, когда уши будут далеко, а глаза близко, дойдет дело и до того сообщения, которое прямо касается вас, светлейшие и славнейшие господа. Пока не дочитаете мое письмо до конца, что хотите, то и думайте. Оно вам покажется удивительным, по крайней мере в три раза более удивительным, чем все мои прежние письма. А возможно, оно было бы ещё удивительнее, не держи я сейчас в своей руке обычное перо, а вы в ваших – мою голову.

Я пишу железным пером и серебряными чернилами не потому, что швыряю деньги на ветер, а сапоги украшаю дорогими пряжками. Нужда меня заставляет. Не потому сосна стоит, что буря её не ломает, а потому, что навстречу буре другие ветры дуют. Меня, конечно, не положат в гроб в той же одежде, в какой убьют, но серебром я пишу не из-за большого богатства, а из-за того, что зрение мое слабеет и подходят к концу наши с вами дела и мои к вам письма. Придется вам нанимать кого-то другого, чтобы присылал вам донесения с турецкой стороны, ведь мы нужны, пока у нас силы есть. Я положил в огонь и мужских, и женских дров, греется моя старость, пекутся яйца в золе, а я макаю перо то в свечку, то в порошок, перемешанный с серебром. Пока перо блестит, я вожу им потихоньку, а как перо потемнеет, так и в глазах у меня темнеет, и снова надо обмакивать перо в свечку... Так и пишется мое последнее к вам письмо. Но я надеюсь, что мрак есть только отсутствие света, так же как боль и зло суть отсутствие Добра, а сами они не являются ни истинными, ни сущностными.

Вы знаете, Ваша светлость, что я уже третий Кувеля, который служит вам верой и правдой, ещё дед мой Михо и отец мой Иван слали тайные донесения из так называемых турецких земель тем пресветлым князьям и господам дубровницким, которые, возможно, приходились вам отцами и дедами, а всё это для того, чтобы ваше государство укреплялось, а наш язык, хотя бы в ваших краях, звучал свободно. Вы знаете и то, что мой отец Иван радел и о наших греческих, и о ваших римских крестах, выкупая их у турок, чтобы спасти от переплавки на посуду, и что он слал вам достоверные сведения обо всём, что делается у турок, пока не встал на его пути один из Шабановичей, бек города Нови,

Ризван Шабанович, проведавший, что Кувели вам пишут. Понял тогда отец, что сам себя за локоть не укусишь, сел на корабль к ускокам, и до крещенских морозов никто его не видал... А когда наступил такой холод, что щека не чуяла прикосновения пальцев, он спрятался вместе с ускоками в заброшенной церкви на горе Орен (как можно дальше от монастыря Савина, где в то время я обучался грамоте). Чтобы не умереть от холода, они сначала бросали в костер снятые с ружей приклады, а когда их спалили, принялись жечь подряд всё деревянное, даже церковные иконы, осеняя себя при этом крестом и давая зарок построить церковь лучше прежней, как только придет весна и они смогут взяться за весла. Иван Кувеля набирал в свой плащ снег, спускался с гор, нес его в безводные селения, а там отдавал женщинам в обмен на корку хлеба. А когда понял, что, хоть грех велик, исполнять зарок уже некому, он под прикрытием метели тайно спустился с гор в Нови. Сначала пошёл на пристань и напился морской воды, потом отправился домой, достал пояс, в котором были зашиты дукаты, предназначенные для моего обучения и пропитания, и, Ваша светлость об этом знает, послал кошелек с золотом своему дорогому другу и вашему верному товарищу Стиепе Бацу в Дубровник, с просьбой отвезти деньги в Константинополь в обмен на голову того бека Шабановича, что стал у него на пути. И написал вам тогда отец мой, Иван Кувеля: «Куда послать золото – решайте сами: или как „гостинец“ в Стамбул, чтобы лишили жизни бека, или в Улцинь какому-нибудь сарацину, чтобы он лишил жизни меня. Но больше так продолжаться не может; два ножа за одним голенищем не носят...» Сами знаете, Ваша светлость, из брови выдергивают самый длинный волос, а из ресниц – самый короткий; не буду рассказывать, как из Стамбула прислали в Сараево шнурок для новского бека Шабановича и как бек поехал в Сараево и вернулся оттуда удавленным и завернутым в шатер. Вы это лучше меня знаете. Скажу только, что в ту же ночь вызвали в Нови брата бека Шабановича по имени Бек-Заги, жившего в городе Требинье, и что в первую же среду на заходе солнца въехал Бек-Заги в Нови и, ни в чем не соблюдая траура, проскакал вместе со своей женой по всем улицам города, на конях была серебряная сбруя, его саблю и копье украшали кисточки, а сам бек, сидя в седле, курил трубку и повторял всё время, что недобрый слух не может быть правдой и что его заклятые враги, как турки, так и неверные, распускают злобные сплетни. Так и проехал бек через весь город со своими людьми, как будто нет у него никакого траура, а жители вели его лошадь под уздцы, передавали поводья из рук в руки, говорили ему слова участия и желали доброго здоровья. А он отвечал всем так:

– Ничего не хочу слышать, потому что знаю, что дубровницкие господа, соседи наши, никогда не станут нашими кровными врагами, ведь они могут представить себе последствия того, о чем идет речь, и знают, что возмездие рано или поздно всегда наступит...

Когда бек приехал в дом к матери, братьям и другим родичам, он повторил, что ничего такого быть не может, хотя уже видел, что брата привезли из Сараева завернутым в шатер. И домашние не надели траур. Только на следующий день, в четверг, когда какой-то человек доставил в Нови письмо из Мостара, в котором один знакомый Шабановичей сообщал, что бек и вправду убит по приказу из Стамбула, и когда стали по всему городу говорить: «Не ссорьтесь с господами дубровницкими, ловко они подстроили убийство бека Шабановича, воспользовавшись несметными своими богатствами для подкупа визиря», тогда только в доме убитого началось волнение. Все заплакали, запричитали,

облачились в траур, отрезали коням гривы и хвосты. Мать надела на себя конскую попону и подпоясалась лыком, брат занемог и перестал выходить на улицу, зеркала повесили лицом к стене, стали варить халву, которую, так же как и деньги, раздавали прохожим на улице за упокой души усопшего, а слуг отправили по всей округе ставить возле мостов желобки для стока воды, на которых значилось имя убитого.

Тогда мой отец Иван отдал мне свое перо и вашу бумагу, а сам нанялся лоцманом к одному владельцу шхуны, который доставлял паломников в Иерусалим и в святые места. И с тех пор как он уехал, уж и камень от ветра похудел, и море от дождей пополнело, а я его так и не видел. Он поселился в монастыре Св. Фёклы в Иерусалимской арсане, где причаливали наши суда, а паломники перед путешествием по Палестине отдыхали и обзаводились путеводителями, изготовленными местными писарями. Иногда он посылал мне в Нови деньги или письмо, а я в то время как раз подрос и начал писать для вас свои первые длинные донесения, – ведь по какой колодке делают туфлю, такой она и получается. В те годы я ходил на новскую пристань, когда возвращались к нам на зимовку суда, возившие паломников, и, втайне от Шабановичей, поджидал отца у Каили-башни.

Прошло несколько лет тщетного ожидания, и вот однажды вместе с другими паломниками на берег сошла одна женщина. Она бежала с одного из тех островов, где нет мужчин. Такие сначала удовлетворяют себя живым угрем, а при первой же возможности устраиваются на галеры с паломниками и там, сначала для удовольствия, а потом ради угощения и денег, занимаются продажей того, чего не покупали. Простите меня, Ваша светлость, но в то время я ещё не путался с женщинами и не знал, что за напасть ношу на себе как одиннадцатый палец или как третью ногу, прикрепляя её подвязкой к своей ляжке. Но шила в мешке не утаишь. В тот вечер вместо отца я встретил эту женщину, мне понравились её волосы, которые она жевала, будто от голода, но не того голода, что утоляют хлебом. Я заметил, что, спрыгивая на землю, она руками поддерживала свою грудь, и в тот самый момент, когда я увидел это, она тоже взглянула на меня. Она пошла вперед, я пошёл за ней, она часто оглядывалась, я взял дукат, перекинул ей через голову, и он упал в пыли под её ногами. Уже опустилась ночь, и мы были одни на соленой земле. Словно нечаянно, она наступила на золотой, и я подумал, что сейчас она уйдет, однако она, не отрывая ногу от земли, вдруг повернулась ко мне. Внимательно на меня посмотрела и сказала всего два слова:

– Ты Кувеля?

Так я узнал, что она бывала на том корабле, на котором плавал мой отец. Потом она молча достала одну грудь и показала мне, что сама может взять в рот весь свой сосок до самого ободка. Тут на мне лопнула подвязка, я почувствовал острую боль, и из меня потекло что-то теплое, сладкое, изнуряющее, как кровотечение. Я едва удержался на ногах, а она быстро подошла ко мне, развязала на мне кушак и, увидев всё как есть, тихо вскрикнула, прикрыв рот ладонью. После этого она подняла дукат, зажала его между зубами и, поцеловав меня, сказала на прощание, что я должен ждать её завтра на пристани на своем судне, если оно у меня имеется. Когда она ушла, я с трудом осознал, что дукат остался у меня во рту.

На следующий день она пришла не одна. С ней была женщина, которая занималась тем же ремеслом и была одного с ней возраста или, может, чуть помоложе. А я уже не мог, как раньше, держать свой одиннадцатый палец за подвязкой, вместо этого я поместил его на то место, где он находится и сейчас, когда я пишу вам эти строки, под широким поясом вместе с пистолетом, кинжалом, чернильницей и зашитыми в пояс дукатами. Когда мы встретились, Ерисена Ризнич (так звали женщину с галеры) подала знак своей подружке, и та расстегнула на себе безрукавку, а мне размотала кушак. Я смотрел на девушку, девушка смотрела на меня. Я видел её маленькие груди, на которых были нарисованы два больших глаза того же фиолетового цвета, что и глаза на её лице. В ушах у неё вместо сережек висели колокольчики, иногда они тихо позванивали на ветру. Глаза её грудей были кривыми, один глаз смотрел на северо-восток, другой – на юго-запад, они как будто молились, обратившись ввысь, в небо, туда, где птицы, облака и свет, а её настоящие глаза смотрели вниз, на мой кушак, где между чернильницами и кошёлками, прямой, как рукоятка ножа, стоял мой одиннадцатый палец, ощущая все четыре стороны света. И тогда девушка, обращаясь не ко мне, а к Ерисене Ризнич, спокойно и решительно сказала одно-единственное слово:

– Нет.

– Хорошо, – согласилась Ерисена, – ты не обязана, но останься с нами, ты мне поможешь.

И все трое мы поднялись на борт. Обе они смеялись, говоря о том, что под палубой нет ни одной кровати, поставленной поперек судна, потому что они привыкли заниматься любовью качаясь на волнах, и это гораздо удобнее, чем на суше, и что если бы я сейчас сделал ребенка, то наряду с моей заслугой в этом была бы и заслуга моря. А дальше они приступили к тому, чем мы потом не раз занимались вдвоем и о чем я не стану говорить Вашей светлости, а то вы подумаете, что я всё это рассказываю из-за своего бесстыдства и что мой рот полон ветра, а под шапкой у меня глупый камень. Но одно я должен сказать, потому что это имеет отношение к нашему делу. Мне было позволено обладать только Ерисеной, хотя при этом никогда не мог прикоснуться к её красивой груди, потому что между нами всегда ложилась её товарка, так как иначе я мог повредить Ерисену своим одиннадцатым пальцем, который, как я уже стал понимать, был для женщин хуже, чем сабля, а для меня – опаснее, чем огонь. Таким образом, ниже пояса у меня была та, которую я имел, а выше пояса та, которую я не имел никогда, но которую, как я со временем понял, желал больше, чем Ерисену. С тех пор я больше не смеюсь, даже тайком, потому что ни один год моей жизни не стоил мне так дорого, как тот, о котором я рассказываю сейчас. Но теперь всё это почти забыто, и, обращаясь к Вашей светлости, я не стал бы ворошить прошлое, если бы, как выяснилось, Ерисена на следующий год не родила в Коринфе ребенка, мальчика, и я, предполагая, что это мог быть мой сын, каждые три месяца высылал ей деньги, то есть часть той платы, которую получал от Вашей светлости в награду за мои письма с турецкой границы. Взамен я потребовал от Ерисены только одно: научить мальчика грамоте. Время сейчас трудное: с левой ноги пойдешь – бьют тебя турки, с правой ноги пойдешь – бьют венецианцы, и никто не ослабит удила на твоём языке и не переоденет в чистое белье твоё имя, кроме вас, светлые и славные господа, и вы, Ваша светлость.

Тем временем я продолжал жить один, словно тень в доме, и утолял свою жажду, как дикий зверь – каждый раз на новом водопое, причем чаще всего с беженками, которых я поджидал и выбирал на причале, потому что это стало для меня страстью. К моему большому удивлению, они обычно отказывались принимать от меня плату, это было непонятно, потому что даже самым искусным из них было со мной нелегко. Однажды, года четыре назад, я получил из Коринфа обмотанный шерстяной тканью сверток, а в нем была написанная красивым почерком рукопись. К рукописи прилагалось письмо, продиктованное Ерисеной Ризнич, в котором она сообщала, что выполнила мое

условие и посылает мне то, что написал её сын Вид. С неизъяснимым волнением я взял листы бумаги и начал читать. Я удивился разборчивости почерка и красоте букв угловатой кириллицы. А ещё больше – содержанию написанного. Вот первое, что я прочитал, развернув лист:

ГАЛЕРА НА ДЕСЯТЬ ВЕСЕЛ КАПИТАНА ВИЦКА УСТАЛИЧА ИЗ ПЕРАСТА. Год 1666.

Василия Филактос. Не гречанка. Цена – двенадцать грошей. Около семнадцати лет. Может завязывать свои волосы вокруг пояса. Можно налить ей между грудями и выпить стакан вина, при этом ни капли не прольется. Живот целиком помещается в одной горсти. Легко достигает удовольствия, легко может и расплакаться. Больше всего подходит мужчине среднего роста, с узкими бедрами, широкими ладонями, у которого не слишком много семени и который больше привык к тому, чтобы женщины любили его, а не он их. Кто не любит женщин, занимающихся любовью с обрезанными, может быть на этот счет совершенно спокоен...

Оказалось, что передо мной перечень цен и услуг особого рода. В рукописи упоминалось около двадцати названий судов, под названием каждого судна указывалось с десяток женских имен, около каждого женского имени стояла цена, а рядом – её обоснование. Описывался внешний вид «беженок», затем тайные особенности и мастерство каждой из них, и давались полезные советы. Я был растерян и смущен и решил убедиться в том, что всё это действительно написал мой сын. Мне не терпелось удостовериться в этом, потому что как раз в то время у меня начало портиться зрение, хотя силу я ещё не потерял. Я подсчитал, что Виду той осенью должно было исполниться восемнадцать лет, и велел передать Ерисене, чтобы она с первым же судном с паломниками на некоторое время прислала ко мне Вида.

Как раньше я ждал своего отца, так теперь, втайне от Шабановичей, ждал галеру, с которой должен был прибыть Вид. Я волновался и всё никак не мог спрятать лицо от лучей заходящего солнца за крестом мачты вытасченного на берег корабля. Я пытался укрыть свои глаза за пересечением мачты и реи, но у меня ничего не получалось: лучи выбивались то выше, то ниже реи, и наконец я понял – причина в том, что я дрожу. В сумерках причалила галера, но Вида на ней не было, вместо него на берег вышла одна очень молодая женщина, на которую я сразу же обратил внимание, потому что, спрыгивая

вниз, она поддерживала свою грудь. Она побежала вперед, продолжая держаться за грудь, потом оглянулась, я, как когда-то давно, перебросил через её голову дукат, который упал перед ней на дорогу. Она наступила на него и повернулась ко мне. Я заплатил ей за одну ночь и дал ей столько же за другую, но уже не со мной. Я сказал ей, чтобы она отправилась в Коринф, нашла там Вида, сына Ерисены, и провела ночь с ним.

– Ты была со мной и меня уже знаешь. Когда проведешь ночь с Видом, будешь знать нас обоих. Если сумеешь понять, сын он мне или нет, возвращайся назад и в любом случае получишь ещё столько же. Если он мой сын, пусть приедет с тобой, если нет, то не надо. Я чувствую, что с этим человеком связана какая-то тайна.

Женщина согласилась, а я наконец взял себя в руки и сел за письмо к Вашей светлости в Дубровник, чувствуя себя счастливым оттого, что прошу у Вашей светлости взять к себе на службу моего сына, чтобы он, если Бог даст и Мария Благодатная даст, служил вам ещё лучше, чем я, ваш нижайший слуга, Кувеля Грек. И я был счастлив, что нить нашей семьи не прерывается, как гнилая веревка, и что на службе вашей пресветлой республики будет ещё один Кувеля, четвертый в этом столетии, сын мой Вид. А я склоню голову себе на руки и буду одной болезнью болеть, а другой опасаться. Письмо было уже готово, и я ждал только подтверждения моих надежд и приезда сына. Но мне пришлось порвать письмо, хотя оно стоило мне большого труда из-за моих помутневших глаз. Потому что как раз тогда, когда письмо было готово, из Коринфа вернулась та девушка и отчиталась передо мной в двух словах:

– Вид не твой сын. Он сын твоего отца Ивана Кувели. А ты не можешь иметь детей.

Когда я, пораженный известием, спросил её, почему она так в этом уверена, она сказала, что с самого начала была послана ко мне моим отцом, Иваном Кувелей из Палестины, что он заранее заплатил ей за то, чтобы она была со мной, потому что до этого она была с ним, и он решил, что она того стоит. Он поступил с ней так же, как когда-то поступал с Ерисеной Ризнич и многими другими женщинами, которым он платил вперед и из года в год посылал ко мне в Нови. Эти женщины, как теперь стало ясно, были единственной связью между моим отцом и мной, так же как теперь они устанавливали связь между мной и моим братом Видом. Итак, Ваша светлость, вашим нижайшим слугой в будущем будет не мой сын, а мой брат, Вид Кувеля. Трезвый от вина, но пьяный и в слезах от тоски, я жду его на пристани и дрожу так, что обувь у меня развязывается. Желаю ему не посрамить своего имени, а Вам, по милости Божьей, радоваться и крепить свою власть и тогда, когда меня, Кувели Грека, уже не будет на свете и не буду я стоять между двумя мечами и между двумя крестами, обмакивая перо в свечку. По-другому и быть не может. Если свет померк, как не окажешься в темноте?

Нови, 6 апреля 1667 года

P.S. Этот post scriptum пишет не Кувеля Грек, а писатель, автор книги «Железный занавес», живущий спустя три века после Кувели, в 1973 году. Донесения Кувелей, добровольцев-информаторов, которые в XVII веке из поколения в поколение сообщали сведения о событиях в Османской империи из города Герцег-Нови (который находился в



те времена на территории, принадлежавшей туркам) в Дубровницкую Республику, и сегодня хранятся в архиве Дубровника под шифром Pr 1942, 1-185. Однако это письмо Кувели Грека так никогда и не попало в руки дубровницкого князя и других лиц, которым оно было предназначено. Письмо оказалось адресовано мертвым. Оно написано 6 апреля 1667 года, как раз в тот день, когда страшное землетрясение разрушило Дубровник и погубило друзей Кувели. Его брату Виду так никогда и не пришлось служить Дубровницкой Республике.

• • •

Чайки на пляже Игала проводили утро в поисках вчерашних отбросов. Ива, ещё полусонная, с босыми ногами в море, лежала неподалеку от них и ждала, когда волны постепенно и окончательно разбудят её. Сквозь опущенные веки она видела, как чайки приносят на её лицо и руки тени, в которых было немного прохлады. Запах соли и трав на берегу менялся – солнце припекало всё жарче. Не вставая, Ива начала лениво раздеваться. Альбатросов больше не было, а из леса начали появляться купальщики. У Ивы ни разу не возникло желания открыть глаза и раздать окружающие её голоса тем, кому они принадлежат. Она оставалась среди них, на гальке, с закрытыми глазами почти до полудня. Исключение составляли вялые вылазки в море, разогревшееся от прибрежных камней. Эти дополуденные часы оставались потерянными для её глаз, и она никогда не узнала, как они выглядели. Но об этом Ива не жалела. Она улыбалась слепыми улыбками, которые приходили на её лицо не извне, а изнутри, улыбками, с которыми впервые она встретилась в детстве, во сне. Нынешние же улыбки возникали из воспоминаний о вечерах, которые утром отзывались небольшой сладкой усталостью, сохранявшейся лишь в одном месте, где-то в её бедрах.

После полудня Ива брала мяч и шла тренироваться. Площадка находилась неподалеку, в лесу, за проволоочной сеткой. Она пахла морем и сосновыми иголками, и всю её, казалось, занимал огромный кусок торжественной тишины, достойный того, чтобы быть выставленным в археологическом музее. Эта укрывшаяся за пиниями тишина, словно церковь, ждала, когда в неё войдут. На площадке Ива редко оставалась в одиночестве. Она была членом молодежной сборной страны по баскетболу, и обычно вокруг неё быстро собирались отдыхающие. Благодаря какому-то особому спортивному инстинкту, сформировавшемуся на огромных зелёных стадионах больших городов и на соревнованиях во время работы в стройотрядах, Ива никогда на них не сердилась и никогда не упускала случая отпасовать мяч кому-либо из этих незнакомцев, навязывавшихся ей в партнеры. Это было странное зрелище, которое ничем нельзя было объяснить, если бы не мяч, хотя, по сути дела, и мяч был всего лишь оправданием. Толпа возбужденных темноволосых самцов в солнечном лесу пыталась загнать самку. Если бы пальцы Ивы не владели мячом так же хорошо, как, несомненно, они знали собственное тело, никакой игры бы вообще не получилось. Но Ива была в состоянии помериться силами со своими противниками. Они же потом никогда не могли забыть то откровение, которое им довелось пережить в лесу, на спортплощадке санатория в Игале, поэтому приходили вновь и вновь, каждый день, и играли со страстью, подстерегали Иву на берегу, подавали ей откатившиеся или отскочившие мячи, а она, как это ни удивительно, двигалась довольно мало и неохотно, хотя, оказавшись под щитом, всегда безошибочно посылала мяч в корзину. Они приветствовали её на улицах городка, наблюдали за ней, когда она лежала на песке, наполненная прекрасными, естественными и пока ещё неподвижными движениями.

Но после игры наступал момент, когда солнце заходило за горизонт. Берег постепенно пустел, и Ива оставляла мяч. Она брала ключ, открывала небольшой дощатый сарайчик в дальнем углу пляжа и, осторожно ступая по гальке, заносила в него шезлонги. Территория была немаленькой, и работы Иве хватало. Сначала она брала разом по четыре шезлонга из

тех, что стояли поближе, два одной рукой и два другой. Потом только по два, а под конец, последние, носила по одному, вяло передвигаясь мимо поздних купальщиков. Солнце постепенно садилось за горизонт, ноги уже плохо слушались её, и те, кто ещё совсем недавно общался с ней, уже не узнавали её.

...

В то время дня, когда я был занят на берегу своей работой, вблизи моря оставались едва ли несколько человек, которые со своих шезлонгов наблюдали за тем, как я тружусь.

Работал я по пояс в воде, почти нагой, двигаясь ровно посередине между заходящим солнцем и их взглядами. Черная повязка на глазу, волосы и небольшой кусок полотна — это было всё, что прикрывало мое тело. Пот, соль и игра света создавали впечатление, что контур тела под кожей очерчен тонким рисунком крови. Пляж был покрыт галькой, которую море постоянно пыталось утащить назад, под воду, и почти каждый день моих каникул, а значит, и свободы, я занимался тем, что насыпал гальку с морского дна в мокрую деревянную тачку и, катя её по специально проложенной доске, окованной железом, возвращал гальку на берег. Работа была тяжелой, и со мной вместе всегда работал кто-нибудь еще, один или двое. И ни разу ни одна из женщин не посмотрела из тени на краю леса ни на кого из них. Эти женщины никогда не ошибались, даже чуть-чуть, и они точно знали, что именно хотят увидеть. Меня они разглядывали методично, каждый участок моего тела, с пристальным вниманием, особенно к наиболее напряженным частям моего тела. Картина никогда не повторялась: солнце, к которому я всегда обращал ту половину лица, где у меня не было глаза, постепенно скатывалось за горизонт и каждый раз, когда я появлялся на берегу, оно окрашивало мою фигуру, которую они рассматривали, в новый оттенок цвета. Моя усталость нарастала, и они знали, что кончиками пальцев могли бы почувствовать, как жилки у меня на голове под мокрыми волосами пульсируют от напряжения.

Но в это время дня ещё ничего особенного не происходило. Всё начиналось с Барбары. За рыбой я отправлялся незадолго до этого. Добывал я её с помощью ружья для подводной охоты, и всегда столько, чтобы хватило на двоих. Море в эти минуты пахло водорослями, моллюсками и звездами и свободно попадало мне в рот, заставляя меня хорошо запомнить эти запахи. Кроме того, здесь, под водой, я чувствовал, какой вкус будет у рыб, в которых я целился, когда они окажутся на столе вместе с «Заячьей кровью» и колючим салатом, приготовленным Барбарой. её маленький ресторанчик находился сразу за пляжем, среди сосен, там, где была танцплощадка.

— Барбара, не пожаришь ли нам рыбы? — спрашивал я её. Она смотрела на края моих ступней, запачканные смолой, на волосы с застрявшими в них иголками пиний и вдыхала соленый ветер, который я приносил в ноздрах. По вечерам к ней в ресторанчик люди заходили, лишь если у них не было намерения провести время получше. Рыбу, которую я приносил, она всегда готовила с особой страстью. Она наизусть знала всю мою одежду и обувь и цвета всех моих рубашек. Пока я ужинал за одним из маленьких столиков в углу,

там, где был слышен шум моря, она из-за стойки наблюдала за мной сквозь ресницы, позабыв стыд, и точно чувствовала в моем рту вкус рыбы, которую только что поджарила. Ей было уже за шестьдесят, но она была ещё совсем молодой, необыкновенно толстой, а её ревность и страсть были простодушны и огромны.

Всё начиналось здесь, перед Барбарой. От её глаз не могло укрыться поведение ни одной из тех женщин, которые приходили в её ресторан одни или в компании для того, чтобы посмотреть на меня. Барбара видела, что всё это повторяется из года в год почти без изменений. Она хорошо знала этих одиноких и, возможно, больных женщин, которые приезжали ещё до начала настоящего сезона и здесь, на глазах у Барбары, переживали встречу со мной спонтанно, словно свое собственное открытие, словно нечто такое, что выпало только им одним. Одинокий отдых таких женщин проходил как череда случайных волнующих каждодневных встреч на пляже или в полупустом вечернем ресторане. Были здесь и женщины, которые приезжали позже, в разгар лета, и такие быстро понимали, что их открытие принадлежит не только им. Барбара хорошо знала и тех женщин, которые долго делали вид, что ничего не замечают, хотя их подруги или даже совершенно незнакомые случайные соседки указывали им на столик в ресторане Барбары, за которым сидел я. Но даже и они, когда им представлялся случай без помех рассмотреть то, на что обратили их внимание, – даже и они делали это с неожиданной готовностью. Барбара наблюдала, как на их лицах, словно в зеркале, отражались все мои улыбки, и чувствовала, как тем, другим, женщинам удавалось расслышать нечто исключительное в тех простых словах, которые я произносил по поводу рыбы, «Заячьей крови» или денег. Барбара знала, что здесь были разные женщины, некоторые говорили так, что она с трудом их понимала, эти приезжали сюда из таких мест, про которые она даже никогда не слышала. Здесь были женщины с самыми разными фигурами, по-разному воспитанные, в большинстве своем лучше, чем Барбара, но все они были моложе её, и она со своим огромным опытом, столько повидав на своем веку, хорошо понимала, что большинству этих женщин я вообще не подходил. Благодаря силе безошибочного инстинкта, который ошибался только в отношении её самой, она чувствовала, что почти все они заблуждались и обманывали сами себя.

Однако встречались и совершенно роскошные женщины, рядом с которыми Барбара чувствовала, что весь её опыт обесценивается и что её охватывает страх перед их вечно прекрасными лицами, красота которых повторялась, словно принадлежала она не только каждой из них, но одновременно и всегда – всем. Да, бывали здесь время от времени роскошные и дерзкие женщины, не привыкшие встречать сопротивление, которые коротко и ясно давали мне понять, что я должен составить им компанию. Бывали и другие, к которым Барбара была менее ревнива, потому что они сразу же и в полной мере показывали, что именно их интересует, стараясь коснуться меня плечом во время танца, невзирая на сопротивление своих партнеров, или же улочая момент, чтобы прижаться ко мне грудью, пробираясь между тесно поставленными столиками. Все они, и притом каждая по-своему, хотели того же, что и Барбара. Но всё же по отношению ко всем им она чувствовала несомненное превосходство. Потому что никто из них не знал и не любил Иву так, как Барбара.

наполненных лунным светом, наши спины, покрытые мурашками, чувствовали, что повсюду за пределами ресторана нас ждет и готовится проглотить огромный пустой и теплый лес, наполненный ночью, смолой и лаем волн.

• • •

В один из сезонов на Игале Ива однажды пришла ко мне с вестью, что она больше не в состоянии носить шезлонги и поэтому на пляже для неё работы больше нет. А так как и я уже довольно долго не имел дела с галькой, возник вопрос, каким образом мы вместе смогли бы выжить. В тот момент у Ивы имелось несколько банок рыбных консервов и немного инжира. И больше ничего. Правда, она сказала, что нашла работу в одном саду, там требовались сторожа. Мы добрались туда автостопом, поселились в маленькой сторожке из камня и сухих веток и провели там несколько дней, колотушками распугивая над садом птиц и питаясь консервами. Когда еда кончилась, я понадеялся, что Ива пойдет собрать яблок. Однако она этого не сделала, и весь день мы сидели голодные. А на следующее утро она спросила:

– Не можешь ли ты пойти в сад и собрать немного яблок, чтобы поесть? У меня желудок то сжимается, то растягивается, словно морская губка.

Я слегка удивился и сказал ей, что не могу. Я уже давно привык к тому, что один мой глаз, тот, что был слепым, смотрит только внутрь и видит только тогда, когда я сплю, а второй смотрит днем на то, что вокруг, то есть на мир, и лишь ночью внутрь. «Это похоже на то, – говорил я Иве, – как будто у меня две птицы в клетке с двумя дверками. Одна дверка открывается только в день, а другая только в ночь. Через ночную дверку вылетают, чтобы покормиться и полетать, обе птицы, в то время как в день через полуденную дверку выбирается только одна из них. Эта вторая птица сделала главное свое дело в тот момент, когда она выбрала тебя и сообщила весть о тебе первой птице. После этого я уже не особенно удивился, – продолжал я, – когда увидел, что со временем и дневная птица, тоскуя по ночной в часы разлуки, проявляет всё меньше желания и способности пользоваться полуденной дверкой, что она всё меньше времени проводит в дне и всё больше в обществе второй птицы, в ночи и во снах, и так до тех пор, пока обе не стали пользоваться только одной дверкой, той, которая ведет в ночь и сон. Поэтому и кажется мне, – закончил я свое объяснение, – что именно тьма всегда была естественным гнездом глаз, ведь они возвращались в него и раньше, в начале, всегда, когда хотели поспать или отдохнуть от дневного света и правды в свете сна, который вовсе не есть отзвук света дневного и не имеет с ним общих корней. В свете этого солнца тьмы глаза купаются в сиянии, которое гораздо старше сияния дневного (оно представляет собой всего лишь его болезнь), и видят даже то, чего при свете дня уже не увидишь. Короче говоря, – закончил я, – я совершенно слеп и не могу пойти за яблоками».

– Теперь понятно, – сказала на это Ива.

– Что понятно? – спросил я.

– Понятно, почему он нанял нас стеречь яблоки.

– Почему?

– Потому что я, в моем состоянии, и ты – слепой – не можем красть яблоки, мы можем только сторожить их.

– Неужели ты не в состоянии пойти и набрать яблок? – спросил я её удивленно.

– А неужели ты думаешь, – ответила на это она, – что я из года в год носила шезлонги на пляже в Игале в окружении калек потому, что мне это нравилось, и потому, что я была здорова? Просто я там лечилась, к сожалению безрезультатно! Сейчас всё кончено – теперь я не могу ходить, точно так же как ты не можешь видеть.

– Знаешь что, – предложил я ей тогда, а уши у меня при этом просто онемели от голода. – Забирайся мне на спину и смотри за нас двоих, я буду передвигаться за двоих, а ты собирай яблоки!

Таким образом мы пробрались в сад и набрали яблок.

Так мы и жили, питаясь ими, до тех пор, пока хозяин не узнал об этом и не выгнал нас. Вот тут уж действительно впереди забрезжил конец. Мы стояли на перекрестке дорог, и во мне ещё раз, в последний раз, проснулось желание. Но мне хотелось, чтобы этот последний раз с Ивой был как можно продолжительнее. И я кое-что придумал.

– Заберись на меня ещё раз!

Я двинулся вперед, неся её на себе и пребывая в ней, а она смотрела на дорогу, которая оставалась за нами. Когда наконец всё было кончено, я сказал ей:

– Мы больше не нужны друг другу. Даже тогда, когда мы совсем близки, когда мы занимаемся любовью, ты смотришь в ту сторону, куда я идти не могу, если, конечно, я не захочу идти назад, я же двигаюсь в ту сторону, куда ты не можешь смотреть, если, конечно, не захочешь смотреть назад. Я знаю, куда увели меня твои глаза: на берег моря, к твоим подругам, которые выбирают новые тела. Выбери и ты... Душа моя, ты, которая держит в себе мое тело, я устал. Отпусти его, дай выйти из тебя и отдохнуть на просторе, а ты поищи другое тело, которое понесет тебя...

И мы разъединились, так же как разъединяются и все другие, когда подходит к концу

ИСТОРИЯ О ДУШЕ И ТЕЛЕ.

.. ..

– Никогда не стреляй, если твоего ружья не слышно хотя бы в трех государствах!

С этими словами Павле Шёлковолосый вышел на большую дорогу, красивый, как икона, и по уши и крови, как сапог. В Приморье, где Солнце ценят не больше, чем коровью лепёшку, он бесчинствовал в трех государствах – венецианском, турецком и австрийском, воруя скот и захватывая караваны с пряностями. Как-то в субботу один купец сунул ему в рот ружье и выстрелил, но ружье дало осечку, и Шёлковолосому лишь опалило язык пороховым дымом. С тех пор он потерял способность различать вкус, и ему стало безразлично, держит ли он во рту женскую грудь или фасоль с огурцами. Рыбу он с тех пор чистил и жарил не убивая, так что, насаженная на саблю, она трепыхалась над огнем ещё живая, а ходил всегда с торчащим наружу концом, потому что поклялся вернуть его в штаны только тогда, когда вернет в ножны саблю.

На Юрьев день он наелся сыра и хлеба и принялся ждать, в какие мысли превратятся в нем этот сыр и хлеб, потому что мужчина может создавать мысль только из сыра и хлеба. В тот день в горах он встретился с Велучей, пастушкой, которая жила без отца, с матерью и сестрами, и никогда не видела мужских яиц, разве что у барана, да и то в жареном виде, а мужчину встречала только на дукатах. Когда из леса перед ней появился Шёлковолосый Павле, со сплетенными вместе косичкой и усами, девушке показалось, что ей улыбается солнце. Огромная и незнакомая душа стояла перед ней, распятая на сторонах света, как растянутая шкура, и пустая, как ночь, но на самом деле в ней, как в ночи, лежали города и леса, реки и морские заливы, женщины и дети, мосты и суда, а на дне, совсем на дне, крошечное и прекрасное тело этой души, которое катило её наверх, как огромный камень. Лишь улыбка, которая загоралась словно свет, приоткрывала на мгновение, что за этой ночью нет пустоты и что через тело можно войти и в душу. А улыбку эту мужчина поймал где-то в другом мире, где лишь улыбкой и можно пожить, и принес её сюда, в далматинское Загорье, принес ей, Велуче, как какой-то драгоценный плод, который надо попробовать или умереть...

Велуча глянула в улыбку на лице Шёлковолосого Павле, и это было последним, что она в своей жизни видела. Спросила, как его зовут, и это было последним, что она в своей жизни слышала. Он ударил её прикладом и тут же, на этом самом месте, овладел ею, полумертвой, подобно тому как ел рыбу полуживой. Потом, утром того же дня, продал на одно из судов, которое возит доступных всем женщин из порта в порт, и ушёл за той самой улыбкой, которая светится во мраке, а Велучу никогда больше не видел. Девушка осталась обезумевшей от ужаса, от пробудившейся страсти и страха, а от удара – слепой и глухой на всю жизнь.

И началось долгое ночное плавание слепой Велучи. Каждый посетитель, поднимаясь на борт, покупал медное колечко и напечатанную в Венеции маленькую книжечку в золотом переплете с подробным описанием живших на судне девушек и всех известных им способов ублажить пришедшего в каюту гостя. Нормой было с десятков мужчин в день на одну девушку, и они плавали так от весны до весны, от порта до порта, удивляясь тому,

что весь мир знает их имена и их достоинства. Вечерние посетители оставляли колечки на судне, надевая их на пальцы своим избранницам, те же должны были утром вернуть капитану по кольцу с каждого пальца, каждая для десяти новых, завтрашних гостей. А книжечки гости уносили с собой и дарили потом друзьям. Так замыкался круг, но не с помощью колец, которые всегда оставались на борту, а с помощью этих книжечек.

Мужчины любят зрением, а женщины слухом, тем не менее глухая Велуча любила лучше, чем другие. Приходившие на судно всё чаще требовали именно её, тайно отрезали у неё прядь волос и посылали в письмах родственникам, чтобы те могли узнать её, когда и сами окажутся на борту.

– Женщина не мыло, не измылится, – говорили о ней смеясь, и молва о Велуче ширилась быстрее, чем двигалось судно, причем описать словами впечатления от свидания с ней не удавалось никому, и всё выражалось движением руки и свистом. Медные колечки надевали ей иногда и на пальцы ног, потому что, бывало, на руках уже не оставалось места. А она не видела и не слышала ничего из того, что происходило с ней и вокруг неё, и продолжала оставаться самой желанной.

– Днем её ум работает быстрее, чем сердце, но ночью наоборот, – перешептывались другие девушки. Принимая и снимая кольца, слепая Велуча прошла на женском судне всё Адриатическое и Ионическое моря от Анконы до Венеции, от Бари до Драча, от Дубровника до Корфу и только спустя долгое время как-то раз сказала:

– Чудная какая-то это деревня, в которой мы живем, – всё подвалы под землей, а улиц на солнце почти и нет, должно быть, оттого все так качается...

Только тогда стало ясно, что она не знает, где находится. И ей объяснили, опустив её руку в морскую воду, что живёт она на судне. Велуча по-прежнему не выражала беспокойства, только иногда ей снилось, что её уши, отделившись от головы, словно две бабочки, летят на сушу, чтобы принести ей чей-то голос или чье-то имя. Но когда она просыпалась, уши, совершенно пустые, были на месте. Иногда она, совсем глухая, играла на своей пастушьей свирели, но свирель давно уже не издавала ни мелодии, ни даже писка, – правда, Велуча этого не могла знать. Говорить она почти не говорила, словно боялась, что со словами из неё вытечет кровь. Правда, было одно-единственное исключение. Она утверждала, что ветры, которые постоянно раскачивали их судно, могут сделать ребенка. Другие девушки знали, что таких, как Велуча, действительно в каждом ветре ждет любовник и что поэтому она действительно может от любого ветра зачать ребенка, и они с ужасом слушали, как она молит о том, чего все они так боялись. Она сидела на палубе и молилась ветрам. Ветры были её церковью. Она призывала их по именам, заклиная одарить её плодом.

Она молила Западняк, или Горник, на котором пишут то, что хотят забыть; и Бурю, при которой продают честь слева, чтобы сохранить её справа; и Восточняк, в который мужчине великий грех мочиться; и Холодняк, который по пятницам не вращает крылья ветряных мельниц, путает дороги и заворачивает тропы обратно, к их началу; и Юго, женатый ветер, который может узлом завязать башню; и Вихорь, который помогает спастись бегством и о котором просят Бога и от Бога его получают; и Полночник, от которого проглатывают язык и створаживается молоко; и Полежак, который, чтоб

стихнуть, ищет свечу в день святого Павла и от которого можно в пост оскоромиться; и Вертушину, которая разделяет руку и ложку, пересчитывает шерстинки на собаке и звезды на небе; и Копиляк, который несется быстрее коня, который можно убить камнем и который дует на локоть; и Северац, от которого бросают колеса и приклады в огонь; и Жёлтый ветер, который приносит сглаз и его ловят зеркалом, чтобы послать чары назад; и Чух, дитя ветров, который может во сне освободить горбуна от горба и повесить тот на ветку клена; и Модрик, который дует через день и может захлебнуться в половнике с вином; и Топлик, который водит войска и конницу, пашет якорем, а жнет саблей; и слепую Анжелию, которая лед в кровать, а снег в миску приносит; и Снегожор, от которого шапки в огонь бросают; и Устоку, которая перевозит в дольний мир срамные части тела и по запаху которой можно определить день недели...

Так, моля ветры дать ей дитя, прошла Велуча и через более страшные непогоды, чем те, которые когда бы то ни было приносили ветры. На шести языках и трех диалектах ею нарасхват пользовались солдаты, под градом ударов противостоящих друг другу грамматик женское судно проплыло через войну между Венецией и Австрией, краем зацепило восстания в турецкой империи, которые откололи от Константинополя Триполи, Тунис и Алжир, его подгоняли те же течения, которые влекли корабли, участвовавшие в кандийской войне, оно прошло сквозь венецианский флот, когда он участвовал в осаде Клиса и Макарской крайны, и оно единственное никогда не спускало флага. В Герцег-Нови Велуча заработала свою первую болезнь, болезнь, которая разрушала то, чего у неё не было, – слух, на Сицилии вторую – болезнь глаз, смертельную для тех, кто видит. Кроме неё, глухой Велучи, все слышали в Задаре весть, что Шёлковолосый Павле погиб и что один турок ездит верхом со стременами, сделанными из его шёлковистых волос. В Шибенике один из гостей потребовал, чтобы она танцевала, и она, обняв его за шею, танцевала лучше всех, хотя не слышала ни звука. Всем давно было ясно, что она без ума от своего вечного ремесла, мужчины шептали, что для каждого из них у неё найдется капелька сладкого девичьего пота, а девушки знали, что она ни разу не потребовала у хозяина судна ни гроша за свои любовные труды...

Но всё было напрасно, ребенка у неё не было. А потом как-то раз, на Коринфе, девушки увидели то, чего слепая Велуча увидеть не могла, – она поседела.

– Скоро и грудь у неё отвиснет, – говорили они со злорадством. Среди них было много новых, молодых, и слава Велучи меркла. Всё меньше людей приходило в её каюту на судне. Всё реже на её руках появлялись медные колечки. Однажды её постель оставалась пустой всю ночь, и девушки нашли её в слезах. Они гладили её оливковыми веточками по голове, не понимая, почему она плачет, и изумились, услышав слова, о которых люди рассказывают и по сию пору:

– Мой Павле Шёлковолосый за все эти долгие годы ни разу не обманул меня, по десять раз за ночь приходил ласкать, ложась рядом. Теперь он больше не приходит. Самый красивый, единственный на свете мужчина меня больше не любит. Шёлковолосый Павле нашёл себе другую...

Сказала и бросилась в море...

То место здесь так и зовут, по той её славе, которую не опишешь. Всякий, кто проплывает здесь, бросает весла, взмахивает рукой и присвистывает. А раз это так, то и я вот на этом месте бросаю весла, взмахиваю рукой и пытаюсь вспомнить тот самый свист из XVII века.

• • •

В мае прошлого года со мной случилось нечто невероятное. Я нашла в своем почтовом ящике объявление, вырезанное из газеты. В нем было написано следующее:

ПРИГЛАШАЕТСЯ БРЮНЕТКА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА МУЗЫКИ

(ГИТАРА)

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: РОСТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 1 м 70 см ПРИ
ОДИНАКОВОМ ОБЪЕМЕ БЮСТА И БЕДЕР

К бесподобному тексту прилагался и адрес, по которому следовало обращаться.

«Недалеко от Gare Montparnasse, – заключила я, пока ещё ни о чем не догадываясь. – Это в шестом округе».

Я как раз вступила в тот возраст, когда нравится всё самое сладкое: мужской одеколон «Van Cleef», липкий осенний виноград, а весной – черешни, уже поклеванные птицами. В январе я научилась подхватывать на лету выпущенные из рук предметы, не давая им упасть, и ужасно гордилась тем, что я уже взрослая и могу заниматься любовью.

Машинально сунув бумажку с объявлением в карман, я привычным жестом взяла гитару и спустилась по лестнице. Какая-то мысль не давала мне покоя. Я брюнетка, рост и прочие данные совпадают. Я всегда попадаюсь на объявления: за каждым из них меня точно ждет бабочка, способная вызвать землетрясение. К тому же моя «мышёловка» всегда соображает быстрее, чем я. И на этот раз она всё уже знала. Как всегда, раньше меня.

Дело происходило утром. Не успела я выйти из ворот, как из тумана вынырнул автобус номер 96. Он медленно подъезжал к станции, расположенной перед моим домом на Rue des Filles du Calvaire. На боку автобуса во всю его длину были перечислены остановки:

Porte des Lilas – Pyrenees – Republique – Filles du Calvaire – Turenne – Hotel de ville – St. Michel – Gare Montparnasse.

вошла в автобус и отправилась по адресу, указанному в объявлении. На двери квартиры не было указано имени, но его не было и в объявлении – только адрес и телефон.

Дверь открыл молодой человек примерно моего роста. Я с трудом узнала его. Бледность его лица несла на себе отпечаток четырех-пяти поколений. В этой бледности таилось нечто похожее на отметину от удара. Но всё же я сразу вспомнила: это он, мой любовник. Тот самый, с которым я познакомилась в Греции. Столько лет спустя он снова расписался на мне своей усмешкой, о которую можно и обжечься. Это был он, Тимофей, со своей золотистой бородкой, похожей на виноградную гроздь. Сначала я хотела повернуться и уйти, но меня удержало его поведение: он вел себя так, точно мы никогда раньше не встречались. Как будто это не он меня учил ворожить по мужскому уду. Он не только вёл себя как другой человек, но временами таким и казался. Он вежливо спросил, как меня зовут, притворяясь, что никогда раньше не слышал моего имени. Всё это было настолько убедительно, что я решила остаться.

– Так вы – преподавательница? – спросил он, пропуская меня в квартиру. На меня повеяло незнакомым приятным ароматом одеколона, быть может чересчур сладковатого и маслянистого. Это не был «Azzaro» – туалетная вода, которой он когда-то пользовался.

Когда я оказалась на середине большой комнаты, он смерил меня взглядом с головы до ног.

– Пожалуй, вы мне подойдете, – задумчиво процедил Тимофей. – А что, цвет волос у вас естественный?

– При чем тут мои волосы? Натуральный чёрный цвет. Голландская ламповая копоть... Так ведь написано в вашем объявлении, кстати не слишком-то вежливом, – вступила и я в игру, словно мы раньше никогда не занимались любовью, едва начинался дождь.

Мои волосы начинают виться, если я тащусь или, например, влюблена, и распрямляются и повисают, когда я не в форме. Я мимоходом взглянула на себя в зеркало и увидела на голове африканские кудри. Значит, я была в ударе. Я сказала, сколько беру за урок, и предупредила, что после пятого занятия, если замечу, что дело не движется, прекращаю обучение. Затем я усадила его на диван рядом с собой, взяла аккорд и начала урок:

– Прежде чем приступить к обучению, объясню вам, что следует помнить о пальцах, когда вы играете. Большой палец правой руки – это вы, а большой на левой – ваша любовь. Прочие пальцы – ваше окружение. Средние означают: правый – ваш друг, левый – враг; безымянные – ваши отец и мать; мизинцы – ваши дети, и мальчики, и девочки, указательные пальцы – ваши предки... Когда будете играть, иногда думайте об этом.

– Ну, коль скоро из струн гитары звуки извлекает моя левая рука, то, согласно вашей присказке, играют моя любовница, моя мать, мой враг, моя бабушка и моя будущая дочь, если я окажусь достоин её иметь... Короче говоря, это будет женская игра, особенно если мой главный враг – тоже дама, – заключил он.

– Учтите, – сказал он, перейдя на минуту в роль наставника, – если вы повредите палец, то это будет касаться не вас одного. Любая ранка на пальце означает болезнь или угрозу для жизни близких вам людей или тех, кто вас ненавидит...

Этот выпад меня немного смутил, и я продолжила урок, обращаясь к нему на «вы», как и он ко мне. Я показала расположение пальцев в простейших аккордах, и он это быстро усвоил. Но правой рукой к струнам ни разу не прикоснулся. Ни в первый урок, ни потом. Он учил только аккорды. Выучив все, что относится к пальцам левой руки, он стал очень точно воспроизводить первую мелодию, которую я ему задала, но, вопреки всем моим указаниям, не пускал в ход правую руку. Это были хорошо оплачиваемые уроки беззвучной музыки. Тогда я пришла к заключению, что мои духи «Molineux» не согласуются с тем ароматом, на который теперь перешёл мой знакомый. В один из следующих дней я надушилась туалетной водой «La Nuit» Paco Rabanne.

– Почему бы вам не начать работать правой рукой? – спросила я. – Напоминаю, завтра у нас пятый урок. Если вы будете брать только эти спотыкающиеся аккорды, я прекращу занятия.

– Но, боже мой, как вы одеты?! – с недовольным видом прервал он меня, быстро вставая. – Пока вы в таком виде, я не могу заниматься.

Я остолбенела. Он взял меня за руку, как маленькую девочку. Мы спустились вниз, вышли на улицу и заглянули в два-три модных салона. Проявив потрясающую сноровку и безошибочный вкус, он купил мне прекрасную юбку, клетчатые чулки, к которым полагался такой же шотландский берет с помпоном, двусторонний плащ и блузку с перламутровыми пуговками. Здесь же, в салоне, он заставил меня всё это надеть. Мои прежние тряпки он приказал модисткам сложить в пакет и выбросить. Всё мое возмущение улетучилось при первом взгляде на себя в зеркало.

– Ну вот, теперь можно продолжить урок, – заявил он удовлетворенно, и мы вернулись к нему в квартиру.

Здесь я должна признаться, что была довольно сильно напугана тем упорством, с которым он продолжал делать вид, что мы никогда не были знакомы. Я взяла свою гитару и уселась, чтобы продолжить занятие. Однако он и не думал братьяся, как обычно, за свой инструмент, а вдруг подошёл ко мне сзади и обнял. Я хотела вырваться, но он, не выпуская меня из объятий, взял первый аккорд на моей гитаре. Аккорд был кристально чистым, его правая рука безошибочно делала свое дело. Тихим, глуховатым голосом он запел старинный романс, которому я его обучила во время третьего урока беззвучной музыки. Через каждые два слова он меня целовал в шею, и я глубоко вдыхала запах его необычного одеколона, которого я раньше ни у кого не встречала. Только слова были не французские, это были слова какого-то странного, незнакомого мне языка.

Пойман тихой сетью завтрашних движений

И в твоих объятиях недвижим почти...

– Это сербский язык? – спросила я.

– Да нет. Почему это вам пришло в голову? – отвечал он.

На середине романса он прервал игру и начал медленно меня раздевать. Сначала стащил с меня берет и туфли, потом снял кольца, разомкнул перламутровую пряжку на поясе. Затем через блузку расстегнул лифчик.

Я тоже стала его раздевать. Дрожащими руками стащила с него рубашку и всё остальное. Когда же мы оба остались голыми, он швырнул меня на постель, уселся рядом, задрал вверх ногу и начал натягивать мои шёлковые клетчатые чулки. К своему ужасу, я обнаружила, что мои только что купленные чулки смотрятся на нем гораздо лучше, чем на мне, а затем пришла к такому же заключению относительно юбки и блузки. Всё это сидело на нем превосходно! Оправив юбку, он обул мои туфли, причесался моей гребенкой, небрежно нацепил мой берет с помпоном, обвел губы моей помадой и стремительно вышел из квартиры.

Я осталась, лишенная как дара речи, так и одежды, одна-одинешенька в чужой квартире. У меня было два выхода – или уйти в его мужском костюме, или сидеть и ждать, пока он вернется. И тут меня осенило. В шкафу я нашла великолепную старинную женскую кофточку с вышитой серебром монограммой «Л» на воротничке. И ещё юбку со шнуровкой. В шов юбки была вшита этикетка «Roma». Значит, одежда была в свое время привезена из Италии. «Всё это, конечно, сто лет никто не носил, ну и пусть», – подумала я. Поскольку всё это мне оказалось впору, я оделась, спустилась вниз и вышла на улицу. Он сидел за столиком ближайшего ресторанчика и ел паштет из гусиной печёнки, запивая его «Сотерном». При виде меня глаза его сверкнули, он вскочил.

Наш поцелуй был слишком горячим для двух высоких девушек – подруг, случайно встретившихся вечером на улице. При этом поцелуе я почувствовала, как моя губная помада приобрела на его губах новый аромат. Мы поднялись в его квартиру. «Как тебе идет костюм моей тети», – прошептал он, расстегивая мою одежду ещё на лестнице. Не успела закрыться дверь, как он уже лежал на мне, весь прямой, как пловец, устремившийся с вышки в воду. Его сложенные вместе ладони оказались над моей головой, ступни ног тоже были соединены и вытянуты. Он весь напрягся, как копьё, чей полет дольше его собственного века. Больше я ничего не помню.

Человеку свойственно быстро забывать свои лучшие минуты. Вслед за мгновением высшего творческого наслаждения, оргазма или чарующего сна наступает забвение, амнезия, утрата памяти. Ибо в моменты прекрасных снов или в минуты воплощения высшего животворящего начала – зачатия ребенка – всё наше существо поднимается по лестнице жизни на несколько ступеней выше самого себя. Не в силах долго оставаться на такой высоте, мы, возвращаясь к реальности, стараемся поскорее забыть эти мгновения наивысшего просветления. За свою жизнь мы не раз бываем в раю, но помним всегда только изгнание из рая...

...

Наши уроки музыки перешли в нечто иное. Он был от меня без ума. Однажды утром он сказал, что хотел бы мне показать свою мать и тётку.

– Но, – прибавил он, – чтобы их увидеть, нам надо будет поехать в Котор и заглянуть в наш семейный особняк. Я только что вступил в права наследства. Это в Черногории. Война там закончилась, и мы можем туда съездить.

Тут он достал старинный позолоченный ключ, головка которого была исполнена в виде перстня. Если зажать ключ в ладони, может показаться, что у вас на руке просто кольцо с прекрасным сардониксом. Именно так он и надел мне его на палец. Это было своеобразное обручение. И тут вдруг произошло нечто странное. Мне представился образ не самого дома, а его внутреннего убранства, причем на секунду я увидела расходящуюся влево и вправо лестницу. Но я не ответила ему, хочу ли я поехать...

2

Когда мы приехали в Котор, был полный штиль. Лодки парили в воздухе над своими перевернутыми изображениями, точно моря вообще не было. По белым склонам гор скользили чёрные тени облаков, похожие на быстро движущиеся озера.

– В этих местах, если вечером протянуть руку, ночь прямо-таки падает на ладонь, – сказал Тимофей.

– Только не показывай мне свой дом, – сказала я, надевая на палец перстень с ключом, – мне кажется, я сама найду к нему дорогу: ключ приведет меня прямо к замочной скважине.

Так и случилось. Вынув ключ, я пошла за ним и оказалась на маленькой площади. Это была, как выяснилось, Салатная площадь. Перед нами предстало жилище его предков. Которский особняк семейства Врачей, дом номер 299.

– Что значит слово «Врачен»? – спросила я.

– Не знаю.

– Как это не знаешь?

– Не знаю.

– Не разыгрывай меня!

Минуту мы постояли под семейным гербом. Ворона, сидящего на золотой ветке, поддерживали над нашими головами два каменных ангелочка.

– Жуткая рухлядь, – сказал он, – в этом доме живут звуки, которым не менее четырех веков. После Второй мировой войны, при коммунистах, его национализировали. А теперь

новые власти вернули особняк во владение нашей семьи. Известно, что в четырнадцатом веке он принадлежал вдове Михи Врачена, госпоже Катене. Мою мать тоже звали Катеной...

Стены особняка были покрыты красной штукатуркой из кирпичной крошки. Но его внешний вид меня не интересовал. Сгорая от нетерпения, я хотела увидеть, что окажется там, внутри. Надев на палец кольцо с ключом, я отомкнула дверь. В вестибюле оказался каменный колодец. Огромный, явно старше самого особняка, он хранил в себе звуки XIII века. Меня захлестнули запахи, пережившие не одно столетие, и я подумала о том, что недружественный дух жилища может заставить женщину бежать от порога дома, куда она собиралась войти. Я сразу узнала расходящуюся надвое лестницу, вдоль неё по стенам были росписи работы итальянского мастера Наполеона д'Эсте. Но это было не так важно. На уровне второго этажа ответвления лестницы упирались в прелестные женские портреты, написанные в полный рост.

– Их-то я и хотел тебе показать, – сказал он. – Та, что справа, брюнетка, – моя тётка, а другая – мать.

Из золоченых рам на нас смотрели две красавицы. У одной в ушах сверкали дивные зеленые серьги, оттенявшие её волосы цвета воронова крыла, вторая же была совершенно седая, хотя ещё красивее первой, и такая же молодая и высокая. На её руке было кольцо с сардониксом, в котором я узнала головку ключа, украшавшего теперь мой палец. Оба портрета были подписаны именем художника Марио Маскарелли.

Однако нас никто не встречал. Я жаждала взглянуть на его мать, госпожу Катену, или хотя бы на тётю, но напрасно. Никто так и не появился. Мозаичный пол и инкрустированная дверь вывели нас в комнаты второго этажа, а потом в маленькую домашнюю часовню, расположенную над сводом уличного перехода. Там на коленях молилась какая-то старая женщина. Я предположила, что это его мать или тётка. Он от души расхохотался.

– Да нет, что ты, это Селена, наша старая служанка.

В третьей комнате оказались поясные портреты тех же двух красавиц, так похожих друг на друга. Тётка была изображена с гитарой. И тут он сообщил, что тётя велела подарить его будущей невесте свои серьги с драгоценными камнями.

– При одном условии, – добавил он. – Если моя невеста будет играть на гитаре. Судя по всему, эти серьги предназначались тебе.

– А где они? – спросила я.

Он ответил, что обе они давно умерли.

– Разве серьги могут умереть? – удивилась я.

Он снова рассмеялся и достал из кармана пару изумительных серег, похожих на две зеленые слезы. Это были те самые серьги с портрета у лестницы.

– Мама и тётя давно умерли, – пояснил он, – мать я едва помню, а тётка была мне вместо матери. Они были, как ты видела, очень красивые...

Он вдел мне в уши серьги, поцеловал меня, и мы продолжили обход дома. Всё в нем было изъедено временем. В одной из комнат я обнаружила две кровати – мужскую и женскую. Мужская была повернута изголовьем на север, а женская – на юг. Мужская представляла собой узкую койку, явно перенесенную с корабля. Огромная женская кровать кованого железа о шести ножках была украшена шарами в виде яблок из желтой меди. Она была такой высокой, что на ней можно было накрывать ужин, как на столе. Зеленые серьги у меня в ушах вдруг стали источать аромат, напоминавший сладковатый немой аккорд Тимофея.

– Что это за странная кровать? – спросила я, указывая на ложе из кованого железа.

– Это трёхспальная кровать. Третий из неё всегда уходит, когда становится лишним.

– Как это?

– Очень просто. Когда женщина забеременеет, из постели исчезает её муж. Когда ребенок подрастает, он уже не спит в постели матери. А в постели появляется любовник. Или любовница. И так далее...

Мы слегка закусили у небольшого стола, даже не присаживаясь. Тимофеем угощал меня еврейским сыром «мицвой» в виде карандаша, обмотанного фольгой, причем проявил необыкновенную ловкость рук и скрытую быстроту движений. Мы запили сыр медовой Ракией, которая отдавала воском. Потом он предложил мне три вишни, добавив, что косточки я могу оставить себе. Косточки оказались тремя зернами жемчуга, которые достали из раковины не менее ста лет тому назад.

...

Утро в Которе бывает соленым, а рассветает только после завтрака... Почти каждый день Тимофей уходил довольно рано, всё улаживал формальности, связанные с наследством. По воскресеньям мы ходили в церковь. Селена и я шли в католический собор Святого Трифуна, а Тимофей – в православный храм Святого Луки. Потом мы все вместе пили кофе на Оружейной площади. Однажды Тимофей отвез нас через залив в Столив, и мы там увидели церковку, где в одной половине служили по православному обряду, а в другой – по католическому. В тот день я нашла в доме веер его матери. На нем было написано мелким почерком:

У души, как и у тела, есть свои органы. Узнав об этом, мы начинаем понимать, что реальность двойственна. Божественное откровение (интуиция), человеческая добродетель (мысль, в которой божество не нуждается), сон (а он тоже живое существо), воображение, знания, воспоминания, чувства, поцелуй (невидимый свет), страх и, наконец, смерть – всё это органы души. У души их десять – в два раза больше, чем органов чувств у тела. С их помощью душа общается с миром, который содержит внутри себя.

Однажды я завтракала вместе с Селеной. Служанка поставила на стол запечённых в молоке угрей и зелёный салат, заправленный единственной каплей солнца, проникшей в дом. На руках у неё были вместо перчаток старые носки, из которых высовывались пальцы.

– Я там видела очаровательные женские портреты. Вы знали этих сестер? – спросила я по-итальянски. Она говорила на этом языке лучше меня.

Селена обнажила зубы, источенные волнами сербских и итальянских слов, которые десятки лет их глодали, лизали и захлестывали во время приливов, повторяясь в одних и тех же устах до бесконечности...

Совершенно неожиданно она произнесла:

– Берегись, девочка. Ведь женщина может состариться в одно мгновение, даже в час любви... Что до этих картин, то лучше бы им не висеть рядом друг с другом. Ни одна из них этого бы не потерпела. Ни Анастасия, ни Катена.

– Но почему?

– А Тимофей не рассказывал?

– Нет. Я считала, что они живы. Я думала, он меня привез, чтобы с ними познакомиться. Видите, как я ошиблась.

– Да они уж давно умерли. Тимофеева мать, Катена, вышла замуж в семью Враченых. Когда она пришла в этот дом, волосы у неё были чёрные-пречёрные, как и у её сестры Анастасии, которая приехала вместе с ней. Сёстры были очень похожи. Их отец, богатый греческий купец, был постоянно в разъездах. Анастасия воспитывалась в Италии, а её сестра Катена – в Греции, в Салониках. Помню, у госпожи Катены был дивный голос, который постоянно менялся, как огонь в очаге. По вечерам я слушала, как она тихо поет в опочивальне своего мужа. Это было странное пение, прерываемое вздохами и стонами. Но меня не обманешь. Я скоро поняла, в чем дело. Господин Медош просил её петь, когда она оказывалась над ним во время любовных утех. То он предпочитал тихие и медленные напевы, вроде песни «Смеркается в день два раза...», в которой каждая строфа плещется, как морская волна. Это были длительные любовные игры. То она напевала мелодии побыстрее. По-моему, в ночь, когда был зачат Тимофей, она простонала песню «Молчит тишина, как цветы голубые»...

Тем временем её старшая сестра Анастасия слушала всё это, сидя в своей комнате и перебирая четки. Но и тут меня не обманешь. Четки служили ей вовсе не для молитвы. Потому она их и в церковь с собой не брала. Она сидела в темноте и перебирала четки, вспоминая любовников, которые у неё были в Италии. У каждого янтарного зернышка на её четках было свое имя. Имя любовника. А у некоторых зерен не было имен. Они ждали, когда будущее даст им имена. Долго ждать им не пришлось. И неудивительно.

Глаза у Анастасии сияли, как два драгоценных перстня... Я тогда ещё не ей служила, а мужу госпожи, господину Медошу. А что потом случилось, все знают.

– Я не знаю. Расскажите.

- Госпожа Катена, мать Тимофея, была убита на дуэли.
- На дуэли?! Во второй половине двадцатого века? С кем же она билась на дуэли?
- С другой женщиной, которая хотела отнять у неё любимого.
- Господи Боже мой! А что известно о той, другой женщине?
- Да всё известно. Вот, у вас в ушах её серьги, значит, всё по-прежнему остается в семье. Теперь они обе покойницы, можно и рассказать.

РАССКАЗ СЛУЖАНКИ СЕЛЕНЫ

Я уже вам сказала, другая женщина – это госпожа Анастасия, старшая сестра госпожи Катены, чей портрет над лестницей с правой стороны. Похоже, господарь Медош, отец Тимофея, не остался равнодушным к её прелестям. Во сне она укрывалась своими волосами цвета воронова крыла, точно в черной постели спала...

Тайный сговор Медоша Врачена и его свояченицы происходил, бывало, через еду, подававшуюся на ужин. Анастасия каждый день заказывала, что готовить к столу. И отдельные блюда, которые я готовила под её неусыпным наблюдением, обещали Медошу, если он ночью её навестит, определенный род наслаждений. Точно сказать не могу, но догадываюсь, что похлёбка из пива с укропом означала одно, заяц под смородинным соусом – другое, а фрукты в вине – третье. Особенно блестели глаза моего господина, если по приказу госпожи Анастасии я ставила на стол устрицы Сен-Жак с грибами. Что уж там делалось в спальне Анастасии, сказать не могу. Но Катена была в полном отчаянии. От ревности она поседела за одну ночь. Так её и написал живописец. Она тогда как раз носила Тимофея...

Все мы ходим по грязи, что во сне, что наяву. Когда подошло время родов, господин Медош отослал жену в Сараево, где в то время жил её отец. Родился Тимофей, госпожа Катена вернулась в опочивальню своего мужа, и можно было ожидать, что его страсть угаснет, как многие другие человеческие страсти. Но связь между Медошем Враченом и его свояченицей не прекратилась.

Госпожа Катена была женщина с характером. Она предприняла решительный шаг, чтобы отстоять свое семейное счастье. В один прекрасный вечер, когда Анастасия приказала готовить устрицы Сен-Жак с грибами, не зная о том, что господина Медоша не будет в Которе, госпожа Катена подала на стол вместо морских раковин шкатулку с пистолетами своего мужа. Она зарядила их и предложила сестре выбирать. Или сию же минуту, той же ночью навсегда уехать из Котора и оставить их семью в покое, или на заре драться на дуэли на пистолетах. Уж и в мое время дуэли вышли из моды, а что говорить о временах их молодости. Тогда и мужчины перестали вызывать друг друга на дуэль. А госпожа Катена решила разрубить этот узел дуэлью с родной сестрой...

Глядя на Катену своими красивыми неподвижными глазами, Анастасия тихо спросила:

– Почему на заре? И громко добавила:

– Бери свои пистолеты. Идем на берег немедленно! Я тогда уже служила Анастасии, поэтому видела всё. Мы вышли к морю через чёрный ход. Воткнули в песок саблю, повесили на неё фонарь. Дул сирокко, ребристый и жгуче-холодный. Он дважды задувал огонь. Ничего не было видно и слышно из-за дождя и шума морских волн. Сестры взяли по пистолету, повернулись спинами друг к другу и к фонарю, а я должна была считать – каждой предстояло сделать по десять шагов. Первой стреляла Катена. И промахнулась. А у той и другой было право на два выстрела, но по очереди.

– Смотри, целься получше, второй раз я не промахнусь! – крикнула Катена сестре сквозь ветер.

Анастасия выпрямилась во весь рост, медленно повернула к себе дуло пистолета, облизнула и взяла в рот. Постояла так минуту, потом поцеловала дуло и выстрелила в сестру. Она убила её на месте. Пуля прошла сквозь поцелуй.

Дело это замаяли, представив его как несчастный случай. Мы перенесли тело в дом и сказали, что, дескать, госпожа разглядывала оружие мужа, в его отсутствие и пистолет сам по себе выстрелил. Что творилось с господином Медошем – не описать. Первое время он слова не мог произнести. Наконец успокоился и сказал:

– Преступление, совершенное в дни, когда дует сирокко, даже на суде карается вполровину.

То ли ему померещилось, что он ещё молод, то ли ещё что, но он покорился судьбе и не стал выяснять отношения со свояченицей. Да и что ему оставалось? Мы оба, и он и я, молчали ради мальчика. Сестра покойной осталась жить в доме Враченых. Она стала растить ребенка. Вот и вырастила нашего Тимофея. Когда они уехали из Котора, барышня Анастасия вернулась к отцу и взяла мальчика с собой. Стала ему вместо матери. Они жили в Италии, пока Тимофей не подрос. Тогда господин Медош забрал его к себе в Белград. Тимофей тяжело пережил расставание с теткой, да и теперь, я думаю, скучает...

Говорят, что ненависть живых переходит в любовь умерших, а неприязнь покойных – в любовь живых. Не знаю. Знаю только: быть счастливым – это особый дар, здесь нужен слух. Как в пении либо в танце. Ведь счастье можно и завещать, и передать по наследству.

– Ну нет, – резко возразила я, вставая из-за стола, – счастье нельзя унаследовать, его надо строить по кирпичику. И вообще, гораздо важнее, как выглядишь со стороны, чем как себя ощущаешь.

3

На другой день я нашла в ящике пару шелковых перчаток и в одной из них – флакончик с душистым маслом. На нем была непонятная мне надпись: «do ti sopravvivo!»

«Я тебя переживу!» – перевела мне Селена эту надпись.

Понюхав его, я узнала запах одеколона – так пахло от Тимофея. Он пользовался теми же духами, что и его тётка Анастасия. Я ему ничего не сказала. Но он, кажется, что-то заметил и сказал:

– Тетя была бы счастлива, узнав, что моя возлюбленная примеряет её меха и платья. Все они здесь. Я думаю, её вещи тебе подойдут, ведь ты сложена почти так же, как она. Мы в этом убедились ещё в Париже.

И мы начали рыться в шкафах и чуланах старого дома. Там ещё сохранилась масса прекрасных вещей, упрятанных в полуразвалившиеся сундуки, которые их прежние владельцы, моряки, привозили из плавания.

Бродя по дому, мы натыкались на огромные комоды и корабельные сейфы с железными засовами и секретными замками, какие изготавливают в Дубровнике. Один из корабельных сундуков, набитый теткинскими вещами, Тимофей привез с собой из Италии в Париж, а потом сюда. Он достал из него песцовую шубку и попросил меня её надеть. Она пришлась как раз впору.

– Она твоя, – прошептал он, целуя меня.

Он подарил меня дорогими браслетами, дюжинами митенок и перчаток. Попадались и кольца, которые носят поверх перчаток и подбирают в тон к кружевным, шёлковым или лайковым перчаткам.

– Когда придет время, я подарю тебе новые духи, – сказал он. – Но пока ещё не время.

С Тимофеем никогда не было скучно. Он вдруг начал меня обучать разным фокусам. Научил есть с помощью двух ножей. Научил обводить арабскими красками подошвы ног, а губы – специально для того предназначенным чёрным лаком. Мне это очень идет. Потом он стал мне давать уроки кулинарного искусства. Когда он упомянул о похлебке из пива с укропом, зайце в смородинном соусе и устрицах Сен-Жак с грибами, волосы у меня на голове стали дыбом. Я добросовестно научилась готовить всё это, но вообще приготовление блюд по-прежнему предоставляла Селене. Тимофей был немного разочарован. Когда я однажды спросила его, где в Которе можно постричься, он усадил меня на диван, взял в руки вилку и нож, постриг и тут же на диване овладел мной, не дав мне даже посмотреть в зеркало. С новой причёской на пробор я была как две капли воды похожа на его тетку.

– С кем он, собственно, живёт, со мной или со своей теткой? – спросила я себя, взглянув наконец в зеркало.

Самыми приятными были вечера, когда привезенный из Туниса фонарь расстилал по потолку персидский ковер, вечера, когда наши души смотрели друг на друга и прислушивались к темноте. Мы сидели в саду за домом, на уровне второго этажа, щурились в темноте и ели выращенные на виноградниках персики, мохнатые, как теннисные мячи. Когда вонзаешь зубы в такой персик, то будто мышь кусаешь за спинку. Здесь, на насыпи, среди высокой травы росли фрукты, лимоны и желтые апельсины. Над нами проносились ночи, с каждым разом всё более глубокие и необъятные, а за стенами

смешивались волны, звуки мужской и женской речи. Каменным эхом доносился из города звон стекла, металла и фарфора.

– Прислушайся, – сказал мне однажды Тимофей, – мужчина может овладеть женщиной одним только голосом. – Слышишь этот женский смех?

Я прислушалась. Смех был воркующий, теплый и такой зрелый, что мог лопнуть. И вдруг бог знает откуда, из Верхнего Котора, в этот женский смех ворвался бархатистый мужской голос, который или пробил девственную плеву, или оплодотворил его, и женский голос моментально затих...

Другой раз, на Ивана Купалу, когда время трижды останавливается (так говорил Тимофей), я украдкой наблюдала за ним. Он лежал в постели и смотрел в потолочную балку, увешанную моими пестрыми юбками, растопыренными, как веера. Я почувствовала странный запах. Потом он, абсолютно нагой, прокрался в ночь, вышел на опустевший берег и вошёл в теплую морскую воду. Немного проплыл, потом повернулся на спину, развел руки и ноги в стороны и высунул огромный язык, которым стал облизывать нос, как собака. Только тут я заметила, что член у него напряжен и то и дело выпрыгивает из воды, как рыба. Тут я вспомнила, как он учил меня ворожить по мужскому уду. Он лежал неподвижно в соленой морской влаге и предоставлял приливу и волнам ласкать его и подобно сильной наложнице или её руке исторгать из него семя. Наконец он выбросил сперму в море и заснул на воде прилива, как на любовнице...

4

Однажды, устав бродить по дому, я прошла мимо портрета матери Тимофея, седовласой госпожи Катены, и мне показалось, что она смотрит на меня из своей рамы как-то странно. Не так, как раньше. Это было в сумерках, когда на небе смешиваются птицы и летучие мыши. В комнаты врвался сирокко, заворачивая края половиков...

По правде говоря, в доме, вернее, между мной и Тимофеем по-прежнему чувствовалось напряжение. Он и здесь продолжал вести себя так, словно познакомился со мной в тот день, когда я пришла с гитарой, чтобы давать ему уроки музыки. Как будто между нами ничего не было в Греции, где я ухитрялась под столом ногой расстегивать ему штаны.

«По усам течет, а в рот не попадает, – подумала я с испугом, – неужели возможно, что он меня и вправду не узнал?»

– Ты меня любишь? – спросила я.

– Да.

– С каких пор? Ты помнишь, с каких пор? Признайся, что ты сам составил объявление в парижские газеты, описав мой цвет волос и прочие данные, а потом вырезал его и бросил в мой почтовый ящик. Когда ты признаешься, что знал, кто я такая?

Он ответил:

– Я не знаю, кто такой я сам, а не то что кто ты.

– Ты – бабочка, которая вызывает землетрясение в чужой жизни. Но я? Помнишь ли ты, кто я?

Не отводя глаз от воды под западными воротами Которского залива, он продолжал:

– Да и ты сама не знаешь, кто ты... Что касается бабочки, то сегодня бабочка означает нечто иное. Сегодня конец света настолько назрел, стал настолько возможным, что можно в любую минуту ожидать – взмахнет крыльями бабочка – и он наступит... Хочу кое-что сообщить тебе относительно» конца света. Многие думают, что конец света можно будет наблюдать из любой точки земного шара. Не забудем о том, что это в сущности значит. Если конец света можно видеть с любого места, это значит, что пространства больше не существует. Следовательно, гибель произойдет оттого, что время отделится от пространства в том смысле, что повсюду на земле будет разрушенное пространство. Всюду останется только бесшумное время, освобожденное от пространства.

– Но все-таки ответь на мой вопрос, – сказала я нехотя.

– Видишь ли, я с этим не согласен. В древнем Ханаане неподалеку от храма стоял круглый жертвенник, вокруг которого были устроены сиденья. Это были места для наблюдения за концом света. С них можно было наилучшим образом увидеть Судный день. Таким образом, они ожидали конца света в одной-единственной точке. Для них это был конец времени, а не пространства. Ибо если конец света можно увидеть в одной-единственной точке, это означает, что на этом месте перестанет существовать именно время. Это и есть конец света. Пространство освобождается от времени.

– Я ему о любви, а он мне о конце света.

– Так ведь и я, и ты говорим о любви. В сердце не существует пространства, в душе не существует времени...

И он указал на горы над Котором.

– Видишь, – сказал он, – там наверху, в горах, лежит снег. Ты думаешь, он везде одинаковый. Но нет, там три снега, и это можно различить даже отсюда. Один слой – прошлогодний, второй, чуть видный под ним – позапрошлогодний, а тот, что сверху, выпал в этом году. Снег всегда белый, но каждый год он другой. Так же и с любовью. Не важно, сколько она длится, важно, меняется она или нет. Если ты говоришь: «Моя любовь остается всё такой же вот уже три года», то знай, что твоя любовь умерла. Любовь жива, пока она изменяется. Как только она перестанет меняться, это конец. Тогда в меня вселилось пугающее, но непреодолимое желание. Я сказала Селене, что завтра собственноручно приготовлю на ужин зайчатину под смородинным соусом. Служанка посмотрела на меня с ужасом, но приготовила всё необходимое. Перед ужином я шепнула Тимофею, что будет означать для наших постельных дел появление на столе зайчатки, и выполнила своё обещание. С тех пор он стал внимательнее относиться к блюдам, которые я ему готовила, и глаза его ближе к вечеру приобретали особый блеск. Однажды он преподнес мне полную лодку цветов. Их аромат пробивался сквозь запах соли и моря.

Шёл день за днем, было тепло и солнечно, мы купались, ели рыбу, жаренную в кипящем масле, собирали мидии. Как-то раз он поцарапал краем раковины средний палец левой руки. Я высосала из ранки капельку крови, и всё быстро прошло. Я ела инжир из его рук, и они пахли всё теми же странными духами. Когда я вдыхала этот запах, я начинала понимать, о чем думает Тимофей. Наконец я поняла, что Тимофей продает этот старый дом.

И тогда я сказала себе: «Какое тебе до этого дело? Находи удовольствие в том, что имеешь. Важнее всего не дом, а сам Тимофей. Если это вообще он». При этой мысли я вся похолодела. Когда он куда-нибудь уходил насчет продажи или ещё по каким-нибудь делам, я слонялась по пустому дому одна. На дне всё того же корабельного сундука я нашла янтарные четки и старинный корсет, прошитый чёрным кружевом с золотой ниткой, с застежкой на стеклянных пуговицах. Это был корсет его тетки с монограммой «А». Такие корсеты на китовом усе надевались поверх трусиков или вообще без них, а чулки к ним пристегивались каучуковыми подвязками. Я извлекла корсет из сундука, решив сделать Тимофею приятный сюрприз.

Я приготовила устрицы Сен-Жак с грибами, а после ужина капнула себе на запястье и за ухом его духами «Я тебя переживу». Слышно было, как за окнами дует сирокко, как где-то за каменной стеной смеется какая-то женщина. Сквозь её смех пробился голос Тимофея. Он пел тот самый романс, которому его научила я, если только он не знал его раньше:

Пойман тихой сетью завтрашних движений...

Потом я услышала, как он вышел, чтобы прополоскать зубы водой с мёдом. Не успел он лечь в огромную женскую кровать, в трёхспальную кровать, как я появилась перед ним, облаченная в один только корсет его тетки Анастасии. Он лежал совершенно нагой, мы смотрели друг на друга как зачарованные, и уд его стал каким-то квадратным и торчал, как огромный нос, под которым выделяются лихо закрученные усы. Я уселась на него верхом. В ту минуту, когда моя страсть достигла апогея, я запрокинула голову и чуть не потеряла сознание от ужаса: на меня, слегка покачиваясь в любовном ритме, смотрела из своей золоченой рамы его черноволосая тётка Анастасия в корсете и зелёных серьгах... Я не узнала себя в висевшем над постелью зеркале.

Когда наступает оргазм, мы не в силах его сдержать. За те мгновения, пока мой возлюбленный изверг семя и оплодотворил меня, мои волосы совершенно поседели и я превратилась в ту, другую женщину, по имени Катена, а красавица с волосами цвета воронова крыла, тётка Тимофея Анастасия, навсегда исчезла из зеркала, из трёхспальной кровати и вообще из реальности...

Случилось так, словно мне дала новую жизнь его мать.

• • •

Мой дед со стороны матери, д-р Стеван Михайлович (1853-1922), которого я совсем не помню, родился в Мохаче, в доме местного священника отца Добрена и Софии Кануричевич. Они отдали сына учиться сначала в Печуе, потом в Колошваре, а позже послали изучать право и философию в Пешт, чтобы он, как говорится, не откусывал раньше, чем посолит. Потом он стал и преподавателем педагогического училища в Сомборе, и адвокатом в Суботице и Нови-Саде, часто переезжал с места на место, занимаясь то одним, то другим своим ремеслом от Ковина до Белой Церкви и повсюду возил за собой двенадцать костюмов, шляп и тростей. Во время Первой мировой войны его арестовали и сослали в концлагерь в Араде за то, что он сказал: «Кто сеет в ненастье, пожнет лишь свист на ветру». Умер он судьей в Сомборе, после той войны, и похоронен там же, на кладбище за часовней. Женился он дважды, оба раза был счастлив в браке с женщинами, которые с ним счастливы не были, и имел шестерых детей. Первая его жена была родом из Панчева, и с ней детей у него было трое – сын и две дочери. Это мой дядя, моя мама и моя тётка. Его вторая жена была из Нови-Сада, из семейства торговца Стеича, они постоянно жили в Вене, а в Нови-Саде у них было два дома – один напротив отеля «Воеводина», с балконом на втором этаже вдоль всего фасада, дом этот существует и по сей день, и второй на Лебарской улице, на углу, он был построен над колодцем, и там был фонтан. Вторая жена принесла ему в приданое имение Ченей и родила тоже троих детей – трех девочек.

На отца был похож только сын, единственный от двух браков, мой дядя, Братец, как до сих пор зовут его в нашей семье. У него были красивые волнистые волосы, он носил часы, которые заводил раз в неделю, всегда в церкви, и небольшую карманную солонку. Рассказывали, что по ночам он катался по улицам в фиакре, с накинутым на шею поводом и скрипкой в руках, и всё окна при его приближении открывались, а кони по мелодии скрипки всегда точно знали, куда нужно свернуть на перекрестке, и слушались смычка, словно кнута. Возле каждой корчмы он останавливался, и хозяин выносил и подавал ему в фиакр кружку пива. Братец опускал в неё серебряную монету, выпивал пиво и возвращал кружку с деньгами назад. Ещё о нем говорили, что он пустой и что любая радость в нем тут же стареет. Так, например, он трижды отправлялся в Печуй с новеньким полным денег бумажником, чтобы «купить аттестат», и каждый раз аттестат пропивал. А если он собирался на прогулку по реке, то для него и какой-нибудь молоденькой вертихвостки под кружевным зонтиком в лодку вносили небольшой стол, накрытый льняной скатертью и уставленный едой и напитками в хрустале и фарфоре, причем в таких случаях вдоль края стола крепили специальное бронзовое ограждение. Братец улыбался сквозь свои усы, как сквозь ячмень, пока они размещались в стоящих возле стола высоких плетеных креслах, похожих на клетки из прутьев, и отчаливали от берега. Этот мой дядя, в честь которого я получил свое имя и на которого был похож, потому что сходство в больших семьях обычно перескакивает под углом, как конь в шахматах, перед началом Первой мировой войны выбрался с австрийской территории, перешёл в Сербию, записался в добровольцы и погиб в бою против австрийской армии.

Эта смерть по-разному отразилась на первой и второй семье моего деда. Моя мать и тётка со смертью Братца потеряли не только старшего брата, но и наследство, потому что на основании какого-то семейного завещания всё имущество по женской линии могло перейти к дяде и его сестрам, только если он достигнет совершеннолетия.

– Кто на деревянной лошадке скачет, будет печь строить из желтого песка, – сказала бабка. По свидетельству одного солдата, который лежал с ним в полевом госпитале в Пироте, дядя умер от ран и тифа за несколько дней до своего восемнадцатилетия, и эти несколько дней на всю жизнь лишили достатка всех нас – бабку, которая после развода осталась ни с чем и была вынуждена пойти служить учительницей в Мачве, её дочерей и нас, их детей, оказавшихся обреченными на жизнь, которая, конечно же, по крайней мере до Второй мировой войны, была совсем не такой беззаботной, какой могла бы быть, останься упомянутое наследство в нашей семье. После этой второй войны, когда уже было поздно пытаться что-либо изменить и когда вся их жизнь уже давно, несколько десятилетий, развивалась в новом направлении, определенном странным пунктом завещания, тётка и мать однажды весной вдруг отправились в Салоники. Там, влекомые каким-то необъяснимым предчувствием, которое, вероятно, годами созревало в них, они принялись искать дядину могилу и нашли её на Зейтинлике – сербском военном кладбище в Греции. Оказалось, что дядя умер на целый год позже своего совершеннолетия, и они с опозданием и безо всякой для себя пользы, хотя и бесспорно, установили, что всю жизнь прожили обманутыми. И все эти долгие годы бесчисленные мелкие заботы не давали им поднять голову и позаботиться о том решающе важном, что помогло бы им избавиться от этих забот и спасти всех нас от нищеты. Так печаль порождает печаль и болезнь передается по наследству.

Для другой половины дедовой семьи смерть моего дяди имела совсем иные последствия. Одна из его сводных сестер, Вида, вышла замуж и переехала в Белград жить с нами, другие же две вместе с отцом переселились в Сомбор, а потом, после его смерти, в Суботицу, где и провели остаток жизни. Они всё никак не выходили замуж и жили вместе – напротив мэрии, и здании, облицованном глазурованными кирпичами, которое напоминало пеструю изразцовую печь. Свою квартиру на втором этаже, за большой стеклянной перегородкой, отделявшей входную дверь от лестницы, оклеенной разноцветной бумагой, они заполнили мебелью, которая всегда переезжала вместе с ними и была набита отцовскими вещами. Марика и Анка носили свои имена с таким же равнодушием, как туфли и корсеты, усыпанные стеклянными пуговками. Несмотря на разность характеров, обе они обожали своего сводного брата и так никогда до конца и не поверили в то, что он мертв. Теперь уже трудно сказать, как и когда случилось, что после известия с фронта о его смерти одна из них в первый раз увидела его во сне, – возможно, это произошло в то время, когда он был ещё жив, а мы этого не знали. Во всяком случае, свой сон она тут же рассказала сестре, и обе они его хорошо запомнили.

– Боже мой, Марика, он словно был в комнате, – говорила тётка Анка. – Только это была не эта комната, а какая-то из прежних, может быть в Нови-Саде или в Сомборе, и он был ещё таким, как до того как отпустил усы. Только вот язык у него был весь в отпечатках зубов от долгого молчания. А мы с тобой были совсем другие, ты будто ходишь в закрытую гимназию, а я уже закончила учительскую школу и вроде как устроилась на работу, – короче говоря, совершенно какая-то другая жизнь, вовсе не тот путь, который

мы с тобой выбрали и который никак не соответствует тому, какими мы были на самом деле, когда он только начал отпускать усы. Ты же знаешь, помнишь, ну ведь мы-то, в конце концов, точно знаем, что не было тогда ни закрытой гимназии, ни учительской школы, ничего похожего. Правда, это могло быть какое-то другое наше прошлое, которого у нас не было, но которое могло быть; возможно, такой могла быть наша жизнь, если бы всё сложилось не так, как оно сложилось. Возможно, если мы будем внимательны и если он и дальше будет появляться в наших снах, мы сможем узнать, какими бы мы были, если бы не стали такими, какими стали, и каким был бы наш тот, другой век, тот двойник нашей судьбы, который нам даже не показался, а унесся без нас по другой орбите... Да, но за него, нашего Братца, я так рада. Представь только, сидит он во сне рядом со мной, пускает дым в кудри у себя на лбу и молчит. Да простит меня Бог, но он словно смотал в клубок все наши пути и теперь разматывает по своему усмотрению...

Так сводные сёстры моего дяди начали внимательно следить за его визитами к ним в их сны и на этой основе постепенно реконструировать свое иное жизнеописание – возможное, но несостоявшееся. Тайком друг от друга, а позже даже и не скрываясь, они начали это записывать. По их тетрадкам, заполненным рецептами приготовления пирожных, мерками для шитья, рекомендациями по ведению домашнего хозяйства и советами врача на случай необычных заболеваний, можно было проследить за тем, как их сводный брат приходил к ним в новом костюме, как он переезжал с квартиры на квартиру, как забегал ненадолго сердитый или в плохом настроении, как он расстилал на льду пальто и шёл по нему вдоль Уны, держась за кусты, как ввалился однажды вечером запыхавшийся, с красным следом поцелуя на щеке и снежинками в кудрявых волосах, что вызвало у его сестер неприкрытую ревность. Потом можно было узнать, как он начал учиться в университете, как его глаза немного поблекли и изменили цвет после того, как он отпустил усы, как он ходил босым на одну ногу, как сидел перед чёрным куском хлеба на столе и как жаловался, что ему никак не удастся увидеть во сне отца.

Время шло, началась Вторая мировая война, венгры оккупировали Суботицу вместе с моими тётками за стеклянной перегородкой, но они продолжали вести свои записи.

– Представляешь, Анка, – сказала Марика сестре как-то утром, – опять новость от Братца. И очень важная. Ты не поверишь, но на днях он женится.

– Господи, на ком же?! – воскликнула изумленная Анка и тут же усомнилась в возможности такого поворота. – В его-то годы?

– Знаю и на ком, знаю и на ком, но не проси, не скажу, – продолжала тётка Марика. – Этого я не смогу рассказать тебе никогда.

С того дня, благодаря новой тайне, тётка Марика стала жить с особой торжественностью и гордостью. Проходили месяцы, казалось, недели крошились в чашки для кофе с молоком, и оставалось только ополоснуть их, и вот как-то утром – снова очень загадочная, грызя за чаем сухарик, намазанный толстым слоем маргарина, и чуть-чуть опустив нижнюю губу, – тётка Марика добавила к первой новости вторую:



– Анка, уж не знаю, рассказывать ли тебе это, но все-таки лучше тебе узнать это вовремя. У него будет ребенок. Уже в дороге.

– Что ты такое говоришь, Марика? Откуда у него может быть ребенок? – безуспешно пыталась сопротивляться тётка Анка.

– Разве я тебе не говорила? – спокойно ответила тётка Марика. – Он же женат. Хозяин – барин. Что ж удивляться, если будет ребенок? Жена его уже на третьем месяце.

Весь её тон, то, как спокойно и упорно она продолжала грызть сухарик, и эта поразительная новость – всё вызывало сопротивление тетки Анки, которая как раз собиралась выйти из дома и была занята застегиванием длинной перчатки. От смущения и гнева она оторвала одну из стеклянных пуговиц и, не закончив дела, ретировалась из столовой.

Напряженность сохранялась и в последующие дни и проявлялась в виде медленных передвижений за стеклянной перегородкой. А потом обе, во всяком случае внешне, сделали вид, что никакого конфликта не было и жизнь течет по-старому. Так было до того самого дня, когда тётка Марика прямо за обедом почувствовала какую-то странную тошноту, которая уже не отпускала её ни на следующий день, ни в следующие недели, ни в следующие месяцы, заставляя постоянно держать руку возле воротника, словно пришитую. Состояние её становилось всё хуже, вызванный врач, опасаясь внутреннего кровотечения, дал направление в больницу, однако тётка Марика изо дня в день откладывала лечение и постоянно вела и проверяла свои записи.

– Ну, болячка моя, что же ты так разыгралась? – ворчала она. – Потерпи ещё немного. Женщины говорят, нужно дождаться срока, не стоит идти раньше времени.

На следующее утро тётка Марика проснулась с криком от сильных болей. И прежде, чем сестра успела что бы то ни было предпринять, всё было кончено, так что вызванному врачу осталось лишь установить причину смерти, в которую тем утром проснулась тётка Марика. Она умерла от обширного прободения язвы.

Так тётка Анка осталась одна в квартире на втором этаже за стеклянной перегородкой, и ей пришлось купить такой корсет, который она могла застегивать без посторонней помощи. Как-то вечером она открыла дневник, но не свой, а тот, где записи были сделаны рукой её покойной сестры. Взгляд тетки упал на последнюю страницу, там под датой 23 марта 1943 года разборчивым почерком была сделана запись: «Наиболее вероятная дата родов». А несколько предыдущих страниц были испещрены подробнейшими девятимесячными записями о состоянии здоровья. Только тут тётка Анка поняла, что последняя дата была днем смерти её сестры, тетки Марики, и что та умерла уверенная в том, что умирает в родах.

...

Когда после 1944 года и освобождения было восстановлено транспортное сообщение между Сомбором и Белградом и начала работать почта, моя белградская родня

возобновила контакты с теткой Анкой, сначала в письмах, а потом и лично, – навестить её и познакомиться был послан я. Дело было так.

Сразу же после войны я начал играть в оркестре Дворца культуры имени Абрашевича, где был самым младшим (мне исполнилось пятнадцать лет), и как-то раз, в ноябре, во время гастрольной поездки, после ночи, проведённой в вагоне, проснулся ранним утром в Суботице совершенно разбитым. Хорошо помню, что тело мое затекло, кожа головы слева от пробора не чувствовала расчески, одна сторона туловища просыпалась раньше другой. Нас было так много, что мы всё – не смогли бы поместиться в привокзальном буфете, и перед зданием вокзала нас встречали местные музыканты с огромными цимбалами, вытасканными прямо на снег, в шляпах, с замерзшими руками. Здесь же, на перроне, стояли торжественно накрытые столы, и, несмотря на то что было всего лишь пять часов утра, нам подали завтрак – гуляш, в который падал снег, – и сообщили, что наш концерт в городском театре назначен на восемь часов вечера. Ввиду того что у нас не было вечерних костюмов для выступления, мы взяли напрокат и тут же напялили на себя новенькую военную форму, разумеется, без знаков различия, но с аккуратно нашитыми пятиконечными звездами – и в таком виде разбрелись по городу, над которым расплзался запах мокрого дыма.

В соответствии с инструкциями, полученными от моих ещё в Белграде, я отправился на поиски тетки Анки. Позвонил в звонок на втором этаже, и из-за стеклянной перегородки быстро появилась тётка в шуршащем платье, от которого пахло горячим утюгом. За её спиной виднелись тщательно, как на корабле, прибранные комнаты с деревянной мебелью и сияющими ручками на дверях, которые цепляются за рукава, когда идешь мимо.

– Ну наконец-то! Столько лет прошло! – воскликнула она на пороге и обняла меня. – А я ведь знала, что ты придешь! Вера мне написала о твоём приезде. Дай на тебя посмотреть, дай посмотреть на твои волосы. Я именно так тебя и представляла, в военной форме. Именно так. Ты, должно быть, устал? Устал, по глазам вижу. Садись, я приготовила обед.

И тётка Анка принялась выносить еду на уже заставленный голубым фарфором стол, где лежало множество ложек со странно смещенным центром тяжести, так что у них перевешивали черенки, по этой же причине ножи постоянно вываливались из тарелок, а у вилок зубцы были густые, словно у расчески, и они жалили губы, как осы. И всё почему-то было солоноватым на вкус, так что мне начало казаться, что и деревянная мебель вокруг нас тоже должна быть соленой. Я отпил глоток ракии, и мы принялись за еду. Ухо тетки на фоне стены, оклеенной разноцветными обоями, на которые падали лучи заходящего солнца, тоже казалось пестрым, а напудренные щеки отсвечивали – одна фиолетовым, а другая желтым. На дне тарелки лежали кусок зеленого мяса и блестящий красный кружок лимона, так что с каждой ложкой у меня выделялась не та слюна. Голубиная печёнка в кислом молоке и голубцы в листьях хрена были уже позади, и она продолжила разговор:

– Ты женат?

– Нет, – ответил я после непродолжительного замешательства, но при этом вдруг почувствовал себя неожиданно взрослым, давно знакомым и любимым, несмотря на то что раньше здесь никогда не бывал.

– А, значит, не женат! Так я и думала, – воскликнула тётка. – Вот видишь, так я и думала. Я сразу поняла, что это неправда. С чего бы тебе жениться?... Покажи-ка мне руки, хочу снова посмотреть на твои руки, – проговорила она, и я из тени от низко опущенной лампы под абажуром, которая освещала только тарелки и руки, не смог узнать собственные пальцы, ногти на которых показались мне разноцветными. Я попытался воспользоваться случаем и сказать то, ради чего, собственно, и пришёл:

– Мои наверняка написали тебе, что мы ждем тебя в гости. Меня послали, чтобы помочь тебе добраться. Прошло столько времени, и пора нам наконец снова собраться всем вместе.

– А как же, конечно. Только чтобы война закончилась, – воскликнула тётка и предложила мне лежащий на столе гранат, от которого я отказался, а она, разломив его пополам, взяла, вставая, несколько зернышек. Она за руку повела меня показывать дорожные сундуки, уже упакованные и наготове стоящие возле входной двери.

– Видишь, всё давно приготовлено в дорогу. А эта поездка, господи боже мой, сколько же я ждала, когда кончится война, сколько я ждала этой поездки, столько ждала, что почти перестала ждать, но теперь, теперь всё так же хорошо, как и раньше, теперь... – Тут тётка Анка замолкла, а я во время этой передышки напомнил ей, что во второй половине дня занят в театре и что мне пора идти. На это она лукаво улыбнулась, опустив ресницы, и ответила: – Как же, помню твои причуды, помню, как ты любишь играть, и не хочу вмешиваться. Я послушаю тебя отсюда, из окна, и, конечно, услышу хотя бы аплодисменты. Иди, а завтра утром, в восемь часов, приходи, я буду готова. Жду тебя.

Она обняла меня, я поцеловал её в щеку и губами почувствовал разноцветную пудру, словно поцеловал крыло бабочки. Уходя, я обернулся и от входной двери попытался рассмотреть её при дневном свете, но успел ухватить взглядом только руку в длинной застегнутой перчатке, которая закрывала дверь. Одной из бесчисленных пуговиц на ней не хватало, и на её месте проглядывал участок белой кожи, маленький, размером с листик. И тут на меня нашло то самое. Мысль, от которой мне вновь и вновь становится стыдно и которая хоть на миг, но неизбежно закрадывается мне в голову, когда речь заходит об особах женского пола. Интересно, а как бы это выглядело с ней? Потом я скатился по ступенькам, и на этом мы расстались.

Утром, уже без военной формы, я в своей обычной одежде поднялся, перескакивая через ступеньки, на второй этаж дома, похожего на мокрую изразцовую печь. На площадке толпился народ – соседи, какие-то женщины. Пробрался сквозь них и увидел настежь открытую двустворчатую дверь за оклеенной бумагой стеклянной перегородкой. Я влетел в квартиру и увидел тетку Анку, торжественно одетую в платье из светлой-светлой ткани, усыпанной мелкими, похожими на укроп, цветочками, в шляпе на голове и в туфлях, застегивающихся на ряд мелких пуговиц. Она лежала на диване. За столом врач и судебный писарь составляли протокол о причине смерти, а любопытные толпились за кучей сундуков и дорожных сумок. Я тоже присел к столу, чтобы в качестве родственника поставить свою подпись, и увидел на столе теткин дневник, в котором она подробно описывала дядину загробную жизнь. На последней странице была фраза, написанная вчера вечером:

Сегодня великий день. Наконец-то он приехал забрать меня отсюда...

... ..



Я пишу это на листе бумаги, прижатом карманным будильником с двойной крышкой, где устроено отделение для нюхательного табака. Стучит всё ещё живое сердце какого-то давно похороненного кармана. Мой прадед по отцу, доктор Стеван Михайлович, отмерял этими часами последние годы своей жизни. Обстоятельства, при которых он, разведенный муж и судья в отставке, умер в 1922 году в Сомборе, были странными. Настолько странными, что ни мои бабки (его дочери), ни Лалошевичи (сомборские друзья нашей семьи) ни разу не упомянули о том, что дед похоронен на местном кладбище, в послепопуденной тени часовни. Когда я случайно узнал об этом и понял, что, сам того не зная, много раз вместе с женой и детьми проходил мимо места, где он лежит, то решил во всем разобраться.

Вот что я узнал.

Во времена доктора Стевана Михайловича в Сомборе все ещё торговали контрабандными драгоценностями, девушки продавали свои косы, и в городе были парикмахеры, которые делали щетки из человеческого волоса, и, кстати, мой прадед покупал их, выбирая те, что пожестче, из бород и усов, и разных цветов – чёрные, рыжие, жёлтые и белые. По утрам он разглаживал щеткой из чужих волос свою волнистую шевелюру и говорил в зеркало самому себе, довольно улыбаясь:

– Берегись человека, который зевает у тебя во сне! Пока он не появился, ты в безопасности!

Рассказывали, что он любил свое лицо, носил раздвоенную бородку и усы, отчего казалось, что к нему под нос уселась седая ласточка. Он был бледным, с впалыми висками, и именно ими он всегда смотрел при свете свечей. Женщины его любили с опозданием, чаще всего тогда, когда он к ним уже охладевал. Он считался явлением исключительным, а его руки были вылеплены с таким совершенством, что это можно было заметить даже по перчаткам, переброшенным через его трость. Прекрасными пальцами он летал по клавишам, одновременно играя с моей прабабушкой в шахматы, стоявшие на рояле. Ел он ложками из оленьего рога, любил выпускать дым себе в карман и каждый день в полдень поджидать в кофейне тот момент, когда останавливается время, потому что оно иногда любит остановиться именно в полдень и именно в кофейне. А позже, когда заведение начинало заполняться народом, он отправлялся домой покормить и вывести на прогулку свою охотничью собаку. Иногда он становился перед ней посреди своей большой комнаты, где один угол был глухим, а три других обладали эхом, и чувствовал, как становится старше героев книг, стоявших на полках. Он любил собак, но не охотился с ними и не держал их, пока был во втором браке, то есть в браке с моей прабабушкой. В один прекрасный день она вытащила из шкафов всё белье, тихонько напевая, перестирала его и перегладила, вызвала мастера починить все замки и оконные запоры, распорядилась почистить всё серебро и все прадедовы сапоги и туфли, сменила чехлы на всех креслах и обшила на них все кромки фарфоровыми пуговицами, переменила постельное белье, сварила мужу суп из поросенка с лимоном, поцеловала его, как обычно, когда он уходил в суд, и покинула его. Переселилась вместе с детьми к своей матери.

Оставшись один, прадед тут же изо рта полил цветы вином и купил себе молодую сучку, русскую борзую из украинского выводка, привезенного сюда эмигрантами. Собака могла скрестить уши, морда у неё была вытянутой и острой, как кукурузный початок, а хвост она носила между задними лапами, он был огромным, у основания толщиной с руку, и служил ей воздушным рулем. ещё когда она была щенком и питалась молоком и рыбой (ее мать вскормили грудью украинские крестьянки), прадед достал одну книгу, Петроградское издание, о содержании борзых собак и прочитал в ней краткое изложение истории этой породы. Русская борзая, происходящая, так же как и остальные разновидности борзых, от абиссинского волка, впервые упоминается в достоверных источниках в XVII веке. Свое начало она берет от двух известных выводов – перчинского и воронцовского, используется для охоты, причем именно верховой, потому что способна достигать скорости около восьмидесяти километров в час и может схватить на бегу зайца. Из-за такой стремительности и необыкновенной подвижности она и получила свое название «борзая», что значит быстрая, а используют её при охоте на антилоп, серн и других быстроногих животных. В имениях русских дворян существовал обычай всегда держать ровно шестьдесят четыре особи этой породы, от излишка избавлялись, а нехватка незамедлительно восполнялась, причем следующим необычным образом – недостающих животных просили в подарок у кого-нибудь, кто их держал. Дело в том, что русские борзые не продаются. Продать или купить такую собаку считается настоящим позором. Единственный способ завести её – получить в подарок. Борзые кровожадны и, в отличие от других пород, могут растерзать щенка. У них сильные и длинные челюсти, притом верхняя гораздо «старше», так что борзая ест, засунув морду между передними лапами, и пищу держит не на языке, а на нёбе. Зубами она может перемолоть в порошок кость и умеет, не отравившись, высосать у человека кровь из ранки от змеиного укуса. Говорят, что борзая иногда может окаменеть (превратиться в камень) и такой камень остается похожим на неё, по нему можно предсказывать ветер или другие изменения погоды. Борзая не поддается дрессировке, она не верна своему хозяину, но её можно приучить к особой охоте на волка. Этот очень сложный вид охоты известен издавна. Для неё нужно взять на одну сворку трех борзых – двух кобелей и одну суку, причем все они должны быть одинакового окраса, то есть белые или пятнистые, как телята, с переливами от желтовато-зеленоватого сернистого до желтого цвета. У борзой острая, как у курицы, грудь, и шерсть с её груди перед охотой сбривают, чтобы она не мешала бежать. У кобелей взгляд немного закровавленный, а у сучек белки глаз чистые, белые. Каждая тройка, как только их спускают, устремляется за одним зверем, и по цвету преследующих собак легко определить, сколько волков они гонят. При такой охоте в загоне участвует всегда столько же цветов, сколько и зверей, потому что отдельные тройки друг с другом не смешиваются. Русская борзая не может сторожить дом, она почти немая, а если залает, её убивают, потому что голос у неё такой звучный, что распугивает всё живое на расстоянии ружейного выстрела. В беге она может повернуть так резко, что иногда ломает плечевую кость. Если из логова подняли волчицу, то первой за ней мчится сука. На волка же нападают и загоняют его кобели. Сначала они отрывают его от стаи. Волк заранее знает, что ему от них не оторваться, потому что борзая умеет делать круги вокруг волка, который бежит только по прямой. В этой неравной борьбе борзые быстро приближаются к волку, чувствуя страх и собственное бессилие, берут его в клещи и с двух сторон вцепляются в него, каждый в то место за ушами, за которое хватает своих щенков волчица, когда переносит их с места на место. Но кобели не грызут волка, и ему

не больно, напротив, его охватывают приятные воспоминания о днях детства, и они без труда валят его на землю и держат так, пока не приблизится сука, которая до этого выжидала, пока они сделают свою часть работы. У борзых сука не только умнее кобеля, но и сообразительнее человека. Она быстрее всех, кто её окружает, превращает настоящее в будущее, и это очевидно. В мгновение ока она вцепляется волку в глотку, но тоже не загрызает его сразу, а ждет охотника. Вот тут-то и наступает решающий момент. Охотник оценивает добычу. Если это обычный экземпляр и у него «сквозь тень проникает лунный свет», охотник дает суке знак, и она перегрызает волку горло. Однако, если оказывается, что волк обладает исключительным сложением и особой породистостью и может «своей тенью опрокинуть стакан», охотник связывает его и доставляет домой живьем, чтобы молодые борзые упражнялись на нем в приемах своей будущей жизни охотничьих гончих собак...

Вот такой щенок – сучка породы русской борзой – и оказался однажды в доме доктора Михайловича вскоре после того, как он разом снял оба обручальных кольца, которые до этого носил на одном пальце. Прадед завернул карманный будильник в теплую зимнюю рубашку и положил щенка возле свертка. Она принимала тиканье часов за биение сердца своей матери и не волновалась, что её отделили от выводка. Каждое утро она будила прадеда, и он сквозь дым первой сигары смотрел, как она обнюхивает его с закрытой пастью, а через шерсть видно, как внутри, между челюстями, работает её язык, ведь борзые нюхают не только носом, но и языком. Другие собаки её не любили и старались держаться подальше, а доктор Михайлович повторял поговорку «Ни собака, ни борзая», поняв теперь, что обычные собаки и борзые – это совершенно разные животные. Тело у его суки было гораздо жарче, чем у других собак, и на месте, где она спала – а ночевала она на снегу, – даже зимой прорастала трава. Считалось, что эта собака может вылечить от радикулита, если лежит в кресле за спиной у больного. У неё очень высокий прыжок, и она, как говорят русские, может подпрыгнуть до, а приземлится после захода солнца. По её глазам и по шерсти можно было предсказать, как будет меняться погода, а доктор Михайлович иногда в шутку говорил, что у его борзой сучки самые красивые кружевные панталоны во всем Сомборе.

– Посмотрите, она может плакать в пасть самой себе! – любил повторять он своим друзьям, демонстрируя огромную пасть своей собаки. Ходить с ней на охоту он не мог никогда, потому что тогда, в двадцатые годы нашего века, охота с русскими борзыми была в Югославии запрещена, причем этот запрет остается в силе и по сей день. Причина проста – во всей Центральной Европе нет ни одного зверя, который был бы быстрее русской борзой. И ружье оказывается просто ненужным – достаточно спустить борзую, и она принесет вам все, зачем погналась...

...

Когда собака прадеда выросла и у неё появились вторые, постоянные, зубы, которыми она с наслаждением смолола в порошок и съела последние из оставшихся молочных зубов, с доктором Михайловичем попытался связаться Эуген Дожа. Раньше доктор

Михаилович никогда ничего о нем не слышал. Но как-то раз ему прислали в подарок трубку, и дед тут же понял, что это предложение контрабандной сделки. Не сказав ни единого слова, он вернул подарок назад и остался глух к предложению. Но все-таки его мучило любопытство, третье ухо было настороже, и доктор Михаилович испугался того, на что готов был решиться. Он понял, что нужно уехать и таким образом избавиться от искушения. Нанял фиакр, к которому в тот же вечер на дышло привязали фонарь, глаза его впервые в жизни увлажнились, и он встретил и остановил у моста через Тиссу «Восточный экспресс». В обитом бархатом кресле, от которого пахло дымом «гаваны» и дамской пудрой, он добрался до Пешта. Уверенный в том, что опасность миновала, он расположился в одной из кондитерских в Буде и, разглядывая фасад церкви Короля Матиуша, наслаждался пирожными, как вдруг из-за столика в глубине зала поднялся и подошёл к нему господин с редкими зубами, за которыми, когда он говорил, взбухал, как тесто, язык. Под воротником вместо галстука господин носил элегантно завязанный кнут, на высоких каблуках башмаков – два платка красного цвета, чтобы в гололед не скользить на лестницах, а в петлю кожаной жилетки у него была воткнута трубка. По ней мой прадед и узнал Эугена Дожу. Тот приехал из Сомбора раньше, чем доктор Михаилович, и теперь оценивал его взглядом несмеющихся глаз, потому что была пятница, а кто по пятницам смеется, в воскресенье будет плакать. Он сказал прадеду, что давно уже ждет его, и попросил разрешения кое-что ему показать. Доктор Михаилович в этот момент ощутил в себе медлительность, невероятную медлительность. Дожа раскурил трубку, несколько раз затянулся, потом погасил её, откинул крышечку на ней, и внутри стал виден бриллиант, лежащий, словно в печке, среди пепла от сгоревшего табака. Доктор Михаилович осторожно вынул его и, встав перед зеркалом, поднес к уху. С первого взгляда он понял, что камень настоящий.

– Этот, что вы держите сейчас, до сих пор сменил три русские семьи, – сказал господин Эуген Дожа. – Он из Африки. Говорят, что, если надеть его на палец, он лечит ревматизм. В нем можно увидеть, когда ждать ветра и изменений погоды, а змеи, почуяв его, уползают. Настоящий ли камень, легко можете проверить и сами. Положите его на язык, и вкус у вас во рту изменится.

Прадед положил камень в рот, и вкус орехового пирожного пропал. Учитывая достоинства камня, цена оказалась поразительно низкой, и доктор Михаилович заколебался.

– Пока зубы есть, будет и хлеб, – сказал Дожа, словно прочитав его мысли, и доктор Михаилович увидел его глаза, которые, подобно зеркалу, меняли свой цвет в зависимости от глаз собеседника. Сейчас они были голубыми, и прадед решился. Он вернулся в Сомбор и стал собирать деньги. Из-за этого, только из-за этого в семье предполагали, что в те последние годы в жизни доктора Михаиловича должна была существовать какая-то женщина. Женщина, из-за которой он разом снял оба своих обручальных кольца и теперь их продал.

Как раз в то время доктор Михаилович начал находить на своих щетках седые волоски, ему казалось, что он стал глухим, что он как по пустыне идет по миру в поисках звука, а однажды утром, когда он, по обыкновению, глянул в окно на башенные часы, то не увидел привычной картины – башни на площади не было, и лишь проложенные дорожки огибали

то место, где она должна была стоять. Правда, часы, кажется, всё ещё были на месте, они пробили девять. Доктор Михайлович с карандашом в руке подошёл к окну и перерисовал то, что видел, на оконное стекло. Это был последний след, оставленный его рукой. То стекло в раме потом ещё долго стояло в его комнате, потому что на следующий день в окно вернулась и башня, и весь привычный вид. Я не знаю, как прадед раздобыл огромную сумму, необходимую для покупки камня. Он читал тогда книгу о квасцах и солях, мечтал, как выковывал бы стекло, и видел во сне, как сверкающий камень останавливает ему кровь. Измерив свою суку, он увидел, что и у неё необыкновенные размеры: 72 сантиметра в высоту, 72 сантиметра в длину и ещё 72 сантиметра составлял объем её грудной клетки. Это был какой-то пифагоров квадрат, из которого нет выхода... Как бы то ни было, прадед завязал узлом внутренности всех своих карманов, разорвал и без того слабые связи с семьей и купил камень. Позже, придя в себя, он снова с удовольствием покручивал усы, про которые в Сомборе говорили: «Такие густые, что вставь в них расческу, она не упадет», и бормотал свою любимую присказку:

– Надень на каждого дурака белую шапку, сразу покажется, что всё вокруг снегом засыпано!

Но так продолжалось всего неделю. Потому что через неделю Дожа послал ему в подарок новую трубку. Это означало, что у него есть и второй бриллиант, парный. Доктор Михайлович испугался ещё больше, чем в первый раз. Цвела верба, он вышел прогуляться по парку, но ему казалось, что у всех прохожих светится язык. Не возвращаясь домой, он сел в первый же поезд на Загреб, оттуда не мешкая дальше, в Вену, оправдываясь перед собой, что просто хочет навестить Стеичей – семью своей первой, покойной, жены. В Вене тем же вечером он увидел в витрине одного из ресторанчиков на Греческой улице гнома, который зашивал собственную бороду золотой иглой с вдернутой в неё красной нитью. Это означало, что здесь подают свежее молодое вино, и прадед вошёл. За первым же столом он увидел Дожу. Дожа, словно давно поджидая его здесь, приветствовал прадеда безо всякого удивления и предложил сесть рядом. Вынул изо рта трубку, загасил и, не говоря ни слова, протянул доктору Михайловичу. Прадед откинул крышечку и нашёл внутри другой бриллиант, с таким же красноватым блеском, как и первый, скорее всего из одного с ним месторождения, из того же подземного гнезда. – Если этот и тот, который у вас уже есть, поместить под уши, – сказал ему Дожа, – то тот, кто их носит, приобретет более острое зрение. Держа этот камень на языке, никогда не опьянеешь, сколько ни выпей. Проверить, настоящий ли он, не трудно. Протяните руку, а другой рукой выпустите его над ладонью. Если успеете отдернуть её до того, как он в неё упадет, значит, фальшивый!...

Прадед сидел окаменев, не говоря ни слова, он отменил заказ на ужин, вернул неоткупоренную бутылку вина и про себя решил, что купит и второй камень. В этот момент Дожа сделал такое движение, словно хотел раскурить трубку, но вместо этого вытряхнул из неё пепел и снова протянул доктору Михайловичу. Тот сразу понял, что именно найдет на дне трубки, и испугался так, что у него в карманах зазвенела мелочь. Он вдруг в мельчайших подробностях увидел лицо Дожи – например, то, что он бреет кончик носа и что веки у него, как у верблюда, двойные и при этом нижние прозрачны, – увидел и то, что в сжатом кулаке Дожа украдкой держит составленными мизинец и большой палец. Тут Дожа внезапно раскрыл кулак, словно он у него растрескался, и вытряхнул из трубки

на ладонь третий камень. Он сверкал белым светом, и продавец сказал про него, что иногда он бывает настолько горячим, что может среди зимы оживить растение под землей. Дожа положил камень рядом с предыдущим и спросил доктора Михайловича, неожиданно перейдя на «ты»:

– Знаешь, какая между ними разница?

– Знаю, – признался доктор Михайлович и почувствовал, что под столом его каблуки отбивают дробь. – Один мужской, а другой женский. Ты их продаешь?

– Мужской продаю, женский – нет, – ответил Дожа и усмехнулся редкими зубами, за которыми, как тесто, взбух язык.

– Что ты сделаешь с женским камнем, Дожа? – спросил его доктор Михайлович.

– Само его имя говорит об этом, – ответил Дожа, – я уже в годах, смотри – всё лицо затянуло сеткой... женщины по своей воле меня больше не хотят...

И они расстались. Доктор Михайлович вернулся в Сомбор, начал худеть и страшно много курить. Во сне ему являлся человек, который зевает. Ямка над верхней губой у него начала лысеть, он носил сердце, зажав его в ладони, брал на ночь под язык ложку фасоли, почесывал плечом подбородок, а ресницы его стали более жесткими, чем брови. Он распродал все свои вещи, стекло, рояль и, наконец, борзую. Он тонул в непонятной муке, а потом вдруг, словно что-то в нем сгорело, умылся утром вчерашней водой, положил в карманы соли и купил у Дожи второй камень, заложив ему и свои часы. Теперь у него были два камня. Оба – мужские. Он часто сидел в полупустой комнате и от солнечного луча, пропущенного через стеклянную пробку от бутылки, прикуривал сигару. А потом убирал бутылку в тень, чтобы не подпалить дам. Перед ним лежали два камня, он рассматривал их красноватые отблески, благодаря которым бриллианты, казалось, приближались друг к другу. А потом грянул гром. Оказалось, что доктор Михайлович не в состоянии выполнять те обязательства, на которых настаивали его кредиторы, имение Ченей пошло с молотка, были затребованы какие-то документы, которые он не смог представить, и прадеду пришлось попросить об отставке в магистрате. Его положили на обе лопатки. Но бриллианты всё ещё были при нем. Теперь они украшали пару серег, сделанных по заказу прадеда. И вот наступил вечер, когда он наконец решился их подарить...

Что именно произошло и кому эти драгоценные камни были предназначены, неизвестно. Известно лишь, что в тот момент, когда доктор Михайлович хотел вручить серьги своей избраннице, он увидел на её платье третий камень, тот самый, женский. Он украшал головку приколотой к платью брошки в форме иглы.

Говорят, что он выкупил у хозяйки и его, продолжая всё глубже погружаться в бездну, и что в день смерти (а день этот пришёл скоро) его обнаружили за столом. Возле его головы лежали серьги с двумя драгоценными мужскими камнями. А женский камень служил головкой иглы, воткнутой в его шейный платок.

Прадед, по-видимому, был не из тех волков, которым сохраняли жизнь.



...

Следует наконец объяснить, как ко мне попал карманный будильник моего прадеда. Его унаследовала от своего прадеда Мария Дожа, моя жена. Два её высоких и слегка сутулящихся брата приходят к нам по пятницам на чашку кофе. Они носят толстые джемперы, связанные не на спицах, а на пальцах, бреют не только подбородки, но и шеи до самой груди, и в их обществе я чувствую себя не вполне уютно. Когда они находятся в нашем доме, молоко скисает, стоит мне его понюхать. Но ничего не поделаешь. От моей собственной семьи они отрезали меня уже давно, и по пятницам я особенно внимательно слежу за красивыми и сильными зубами моей жены, которые клацают всякий раз, когда она зевнет. Тем не менее особенно я не тревожусь. До поры до времени я в безопасности. В соседней комнате спят трое наших детей. Им-то ведь нужно на ком-то отрабатывать приемы, чтобы подготовиться к взрослой жизни.

.. ..

– Никогда ещё октябрь не начинался так часто, как в этом году, день-другой пройдет, и вот он, явился снова. Уже раза три, и всё до срока...

Так шептала по-немецки в свою чашку севрского фарфора барышня Амалия Ризнич. В её семье уже сто лет осенью говорили по-немецки, зимой по-польски или по-русски, с весны переходили на греческий и только летом использовали сербский язык, как это и пристало семейству торговцев зерном. Таким образом, всё прошедшие и будущие времена года сливались в её сознании в одно вечное время года, похожее на самое себя, как голод похож на голод. Весна снова и снова связывалась с весной, русский язык с русским, зима с зимой, и только то лето, в которое в настоящий момент была заключена барышня Ризнич, выбивалось из этой череды, чтобы ненадолго забыть свое временное место в календаре между весной и осенью, между греческим и немецким.

Барышня Амалия Ризнич была в семье второй, кто носил такую фамилию и имя, а по бабке она вела происхождение от графов Ржевуских. Тех самых Ржевуских, которые с XVIII века давали Польше писателей и государственных деятелей, а в XIX веке прославились красивейшими женщинами, чьи парики и платья до сих пор можно видеть в музеях ⁽¹⁾. Первая, самая старшая Ржевуская, Эвелина, была замужем за неким Ганским, а потом вступила в брак второй раз – с Оноре де Бальзаком, французским романистом ⁽²⁾. Вторую графиню Ржевускую, сестру Ганской-Бальзак, звали Каролина, и совсем молодой её выдали замуж в семью Собаньских, но этот брак не был продолжительным. В 1825 году в Одессе и в Крыму она встречалась у своей младшей сестры, третьей графини Ржевуской, с поэтом Адамом Мицкевичем, который посвятил ей лучшие из своих любовных сонетов. На них ещё можно было наткнуться среди семейных бумаг матери Амалии, и когда Амалия начала приводить в порядок и отдавать в переплет свои собрания рецептов, в одно из таких собраний она случайно включила и стихотворение Мицкевича, посвященное её бабке, – оно было написано на обороте перечня блюд, подававшихся во время какого-то обеда в 1857 году. Третья графиня Ржевуская (бабка Амалии по прямой линии), Паулина, та самая, у которой встретились великий поэт и Собаньска, была второй женой судовладельца и крупного торговца Йована Ризнича. Он же происходил из рода тех самых бокельских богачей Ризничей, которые в конце XVIII века начали расширять свою торговую сеть на север и восток и, обосновавшись в Вене, скупать земельные угодья в Бачке, из тех самых Ризничей, у которых было принято до заката солнца пить только с закрытыми глазами, из тех самых Ризничей, среди которых в старину был один красавец, который за каждую свою улыбку получал от собственной любовницы по одному дукату. На заре XIX века одна из ветвей Ризничей переселилась из Вены в Триест, чтобы успешнее держать под контролем разросшийся семейный флот. Так что в начале XIX века дед Йована по-прежнему жил в Вене или в одном из имений в Бачке, а отец, Стеван, уже купил для сербской церковной общины в Триесте шитую золотом хоругвь с ликом святого

¹ Сербский писатель и генерал при Екатерине Великой, Симеон Пишчевич, арестовал графов Ржевуских, отца и сына, принадлежавших к этому же роду, в Варшаве в 1767 г. и отправил их в заключение из-за того, что они выступили против присоединения, которое, между прочим, сам Пишчевич тоже не одобрял.

² См. переписку Бальзака с графинями Ржевускими, которая была опубликована в 1969 г. в Париже.

Спиридона и с комфортом проживал на берегу Триестского канала, не только управляя флотилией в пятьдесят флагов, но и обладая недвижимостью в столько же очагов.

– Позвольте представить вам, ваше императорское высочество, бедняка, у которого в этом городе имеется всего лишь пятьдесят домов, – сказал в 1807 году губернатор Триеста принцу Людвигу Габсбургскому, приведя к нему на аудиенцию Стевана Ризнича.

Вместе со Стеваном Ризничем в Триест переехала и та самая знаменитая «двухтарифная» улыбка деда Ризнича, которая в их роду после него передавалась из поколения в поколение и которую были обязаны усвоить все члены семьи мужского пола, если по каким-то причинам они не получили её в наследство естественным путем. Эта улыбка, возраст которой уже перевалил за сто лет, в шутку называлась в роду Ризничей словом «карафиндл», а слово это обозначает столовую посуду для уксуса и растительного масла.

Именно с такой улыбкой на губах, словно это товарный знак их фирмы, триестские Ризничи пригласили писателя Доситея Обрадовича (1740-1811) в домашние учителя для своего наследника Йована и принялись выписывать мальчику всевозможные книги, словари и календари, потом послали его учиться в Падую, а затем в Вену, где он встретил девушку, которая стала его первой женой. В те времена Ризничи уже торговали собственным зерном из Бачке по всему свету, и особенно хорошо были развиты их связи с Одессой. Австрийские шпионы, которые сидели по венецианским театрам и наблюдали за тем, кто чему аплодирует и кто над чем смеется, знали, что деньги, полученные Ризничами от торговых сделок по снабжению русской южной армии, идут на помощь сербской революции 1804 года. Дела с русской армией развивались все лучше и лучше, и вскоре молодой Йован Ризнич стал тем, кому доверили основать и развить деятельность торгового представительства дома Ризничей в одесском порту, к причалам которого приставали их суда. В те годы в Одессе в дождливую погоду была такая грязь, что без ходуль невозможно было перейти дорогу, и только недавно начались работы по мощению улиц звонким камнем.

В 1819 году Ризнич погрузил на одно из своих судов итальянскую оперную труппу в полном составе, с басами, которые в открытом море из-за морской болезни превратились в теноров, с тенорами, которые по гой же причине на какое-то время потеряли голос и требовали возвращения судна, с сопрано, которые от страха на некоторое время перестали подражать Анжелике Каталани, и с дирижером, который вместе со всем хором протрезвел только в Одессе. Чтобы развлечь свою сколь красивую, столь же и болезненную жену Амалию (это и была первая Амалия Ризнич), Йован основал в Одессе оперный театр, где исполняли преимущественно произведения Россини и где у местной золотой молодежи вскоре возник обычай собираться на шампанское в роскошной ложе госпожи Ризнич. Эта красивая цинцарка была известна благодаря своему деду, графу Христофору Нако, который имел обыкновение подвешивать крестьян за ус, владел землями в Банате на территории бывшей аварской столицы и повсюду, где бы он ни стукнул посохом о землю, находили потом золотые кубки из сокровищницы Аттилы. Две дюжины кубков, блюдо и чаша из чистого золота были выкопаны, когда устанавливали изгородь вокруг его виноградников. Как выглядела Амалия Нако, в замужестве Ризнич, которой достались эти кубки, нам известно благодаря рисунку русского поэта Александра Пушкина, потому что

и он бывал в её одесской ложе, воспетой потом в «Евгении Онегине» ⁽³⁾. Поэт носил перстень на большом пальце и написал немало стихов – и в Одессе, и позже, – посвященных «госпоже Ризнич». Они включены во все сборники его любовной лирики, а её кончина вдохновила Пушкина на стихотворение, в котором упоминается тень маслины, уснувшая на воде. Йован Ризнич после смерти Амалии утешился вторичной женитьбой, на этот раз на самой младшей из уже упоминавшихся графинь Ржевуских – Паулине.

• • •

Внучка Ризнича от этого второго брака, Амалия, унаследовала имя своей двоюродной бабки Амалии, урожденной Нако, имения семейства Ризнич в Бачке и красоту Паулины Ржевуской, бабушки по прямой линии. Жила она преимущественно в Вене и Париже, носила лорнет с ароматическим стеклом, осеяла крестом оставленную на тарелках еду, чтобы та не обиделась, и целовала оброненные ложки. Она играла на флейте, и считалось, что её флейта была сделана из особого дерева, которое замедляет прохождение звука. Шепотом передавали друг другу шутку: дунешь в четверг, а музыку услышишь только в пятницу, после обеда...

– Еда – мой единственный друг, – с упреком говаривала барышня Ризнич своим друзьям, и действительно, её огромная венская библиотека была целиком посвящена алхимии вкуса и запаха. Она была до потолка заполнена сочинениями по истории кулинарного искусства, сборниками, где обсуждались религиозные ограничения, связанные с питанием, отказ пифагорейцев употреблять в пищу бобовые, посты христиан и запреты на свинину и алкоголь у мусульман; здесь также было полно трактатов о кулинарной символике, справочников по виноделию и виноградарству, сборников советов по кормлению рыб, пособий по селекции и размножению животных, гербариев съедобных растений. Особое же, почетное, место в этой библиотеке занимали описания наборов различных продуктов для мифологических животных, сведения об употреблении в пищу во времена античности жемчуга и драгоценных камней, а также рукописный словарь обрядовых жертвоприношений в виде различных блюд. В Пеште (где жили её родители) во время сербско-турецкой войны в книжных магазинах и редакциях газет специально для неё откладывали все рисунки и гравюры с театра военных действий, изображающие обоз, потому что барышня Ризнич за собственный счет содержала несколько военно-полевых кухонь, и там, на фронте, эти кухни готовили пищу для сербских и русских солдат по составленным ею меню и рецептам. Итак, занимаясь девятым видом искусства, тем самым, который требует выучки скрипача и памяти алхимика, барышня Амалия довольно рано пришла к выводу, что уже очень давно, приблизительно в I веке нашей эры, смешение религий (как угасающих, так и новых, таких, которые, подобно христианству, только начинали развиваться) привело к свободному взаимопроникновению различных кулинарных традиций Средиземноморья, и именно тогда в его бассейне, словно в



³ Сделанный Пушкиным рисунок, на котором изображена Амалия Ризнич, можно увидеть в музее Царскосельского лица в нынешнем городе Пушкине, неподалеку от Санкт-Петербурга. Рисунок сделан в рукописи романа в стихах «Евгений Онегин».

огромном котле, сварилась лучшая кухня Европы, та, благодаря которой мы существуем и по сей день. Уверенная, что эта традиция постепенно исчезает, Амалия, не зная усталости, совершала паломничества по самым известным, прославившимся своей кухней ресторанам Венеции, Парижа, Лондона, Берлина, Афин и Одессы.

Вопреки ярко выраженной гастрономической ориентации, барышня Амалия не утратила стройности фигуры, сохранив её до глубокой старости, несмотря на все болезни, так что она и в семьдесят лет могла нарядиться в свое подвенечное платье, которое сидело на ней так же безукоризненно, как в первый и единственный раз в жизни.

– Хоть сейчас под венец, – вздыхали дамы вокруг неё, а она улыбалась и жаловалась:

– Все, кого я ненавидела, давно мертвы. Никого не осталось...

Точно так же как и в конце жизни, она и в её начале, в молодости, могла бы сказать то же самое – у неё никого нет. В своих путешествиях она подолгу бывала одна, и её взгляд, опасный и способный сглазить, повсюду и постоянно обнаруживал потерянные мелкие монеты – иногда серебряные римские, но чаще всего не имеющие никакой цены филеры. Эти монетки, казалось, прилипали к её взгляду и танцевали в пыли, будто сияющие пятна. Сидя в дорогах ресторанах, она задумчиво подносила голову к ложке, а не ложку ко рту, стеклянные булавки в её волосах позвякивали, когда она жевала, и она понимала, что некоторыми блюдами и некоторыми винами наслаждается в последний раз, потому что и они умирают как люди. И каждый раз перед Рождеством она распоряжалась переплести все меню за истекший год и все снятые с бутылок наклейки от выпитых за теми обедами вин.

Путешествуя, она встретила однажды инженера Пфистера, работавшего в то время над сборкой летательного аппарата, подобного тому, что позже бесславно закончил существование и носил имя графа Цеппелина.

Стоило барышне Амалии увидеть его, как она подумала: «Красота – это болезнь! Красивый мужчина не должен принадлежать одной женщине...» И спросила его, умеет ли он выругаться по-сербски, на что незамедлительно получила ответ:

– ... твою мать!

– Да хоть бы и так, ей-то что с того? – спокойно ответила она и устремила взгляд вдаль через золотое кольцо на его левом ухе, которое свидетельствовало о том, что Пфистер единственный ребенок в семье.

Славившийся своей красотой Пфистер, как известно, носил только один ус и серебряные перчатки, а его одежда изобиловала моднейшими парижскими пуговицами. Кроме того, у него всегда были при себе часы-близнецы. Одни золотые (они показывали дни, недели и годы), а другие из серебра высшей пробы (по ним можно было узнать фазы луны). Было известно, что золотые часы, сделанные тогда же, когда и серебряные, имели две алмазные оси и были практически вечными. У вторых, серебряных, часов оси были обыкновенными, поэтому их дни были отмерены. Пфистер пользовался обоими механизмами, поэтому он распорядился пересадить одну из алмазных осей из золотых часов в серебряные. После этого век и тех и других определялся одним и тем же сроком.

Когда барышня Амалия увидела его часы и спросила, чему они служат, Пфистер не раздумывая ответил ей:

– Эти, серебряные, часы отмеряют ваше время, а золотые мое. Я ношу их вместе для того, чтобы всегда знать, который у вас час.

На следующий день он послал ей в подарок «Словарь улыбок», модную тогда книгу, и они вместе отправились путешествовать по ресторанам всего мира. Он был там известен не менее, чем она.

Как-то вечером они неожиданно обвенчались, стояла непогода, но молодожены приказали вынести рояль на террасу, под ливень, и за свадебным обедом слушали, как дождь ударяет по клавишам. И танцевали под эту музыку. По воскресеньям Амалия по-прежнему пила только собственное вино. Вино из имений Ризничей в Бачке, которое её слуги вносили в ресторан в плетеных, словно корзины, сундуках. Теперь они пили это вино вместе. Они часто ели заливную рыбу или квашеную капусту с орехами, после сидели молча, она смотрела на него, а он читал и перелистывал страницы книги так быстро, словно пересчитывал денежные купюры, а потом она неожиданно с вызовом говорила ему, словно в ответ на это молчание или чтение:

– А вот и не так!

– Во сне не стареют, – утверждал инженер Пфистер и спал со своей молодой женой по шестнадцать часов в день. Она его обожала, обгладывала кольца из слоновой кости на его пальцах и прикуривала от его трубки длинные чёрные сигареты. У него были трубки из фарфора и из морской пенки, и она мыла их коньяком, испытывая время от времени безумное желание самой раскурить одну из них. Заметив это, Пфистер сказал:

– То, что нам в октябре кажется мартом, на самом деле январь.

Она тогда не поняла этих слов, но спустя несколько месяцев обнаружила, что беременна.

Теперь пора сказать несколько слов об Александре Пфистере, которому предстояло родиться от этого брака. В семействе Ризничей его, единственного наследника, ожидали с огромным нетерпением. Но он все не появлялся. И в той и в другой семье все ждали Александра, а вместо Александра на свет явилась Анна, дочь сестры Амалии, потом прибыла Милена, сестра Анны, и только после неё сам Александр. Его имя зазвучало за три года до его появления и за пять лет до того дня, когда Амалия встретила с Пфистером, поэтому оно навсегда осталось старше самого Александра. За несколько лет до его рождения о нем уже говорили, в церквах Вены и Пешта тайком служили за него молебны, заранее выбрали будущую профессию наследника всего рода, школы, в которых ему предстояло учиться, домашнего учителя – француза с двойным рядом усов, – ему сшили матроски для воскресных прогулок и визитов в гости и купили золотые ложки, словно он уже сидел на своем месте, заранее приготовленном для него за столом Ризничей в Пеште или в столовой Пфистеров в Вене.

Однажды весенним утром, как раз когда Ризничей переходили с русского языка на греческий, появился на свет маленький Александр Пфистер, красивый, крупный мальчик. Он сразу же закричал в полную силу, да притом басом, и оказалось, что родился он с

зубами. Говорить начал через три недели после того, как его крестили в венской греческой церкви, на третьем году жизни он уже свободно оперировал пятизначными суммами, на четвертом, к общему изумлению, оказалось, что он умеет играть на флейте и говорить польски, а на голове мальчика мать обнаружила два седых волоска. В пять лет у Александра Пфистера проросла борода, и он начал бриться; он превратился в крупного, почти зрелого юношу, красавца с золотым кольцом в ухе, и непосвященные уже принялись прикидывать, годится ли он в женихи их дочерям на выданье. Но тут о нем поползли сплетни, словно у всех окружающих враз развязались языки. Среди этих сплетен (а больше всех в их распространении усердствовали служанки) особенно выделялась одна, удивительная и непристойная, о необычной и преждевременной половой зрелости ребенка. Поговаривали, что у малыша Пфистера от его бывшей кормилицы есть где-то сын, всего на несколько лет моложе его самого, но такого рода истории все-таки были преувеличением. На самом деле сын госпожи Амалии вообще никогда не выглядел странным; те, кто не знал ни его жизни, ни его возраста, не могли заметить ничего необычного ни в его обходительном поведении, ни в красивом лице, где всего было в избытке, как на столе у Ризничей. Одна лишь мать как в помешательстве повторяла про себя:

– Красота – это болезнь...

Но неделя, стоит ей стронуться с места, на вторнике долго не останавливается. В шесть лет маленький Александр Пфистер стал совершенно седым, словно постаревший близнец своего ещё нисколько не тронутого сединой отца (которому тогда ещё не было и двадцати пяти), а в конце того же года мальчик начал стареть быстро, как творог, и на седьмом году жизни умер. Было это той осенью, когда от Тиссы до Токая хоронили виноградники, как раз в тот день, когда, как говорят, по всей Бачке не было произнесено вслух и пяти слов, если собрать их все вместе... Эта смерть, пусть даже ненадолго, снова соединила семью Ризнич, а семью Пфистер разбила навсегда.

...

– Вещь, более всего похожая на мысли, – это боль, – сказала госпожа Амалия, облачившись в траур и немедленно разойдясь с мужем. Ввиду того что Пфистер потерял собственное состояние ещё до женитьбы, потратив его на создание дирижабля, расставшись с женой, он канул в бездну нищеты, оставив ей на память свои золотые часы и сохранив у себя серебряные, отмерявшие время госпожи Амалии, которая сразу после похорон уехала к родителям в Пешт. Она сидела в столовой их дома, пересчитывала каменные пуговицы на своем платье и не мигая смотрела на мать и отца.

– Твой муж и ты оставили мне в наследство несчастье.

– Наверное, все-таки твой отец, а не мой муж.

– Ты выбирала мужа, а не я отца.

– Наверное, ты бы выбирала и мать, если бы могла.

– Если б могла, то, уж конечно, о тебе бы даже не подумала...

Так разошлись и они. Снова оставшись одна, госпожа Амалия наполнила свои сундуки лавандой, положила между рубашками листья грецкого ореха, в парик горные травы, в перчатки базилик, а в подол своих юбок зашила вербену и снова вернулась к скитаниям, к «синим, темно-прекрасным» платьям, а на шее у неё постоянно висел медальон с портретом покойного Александра Пфистера, на котором он выглядел так, как мог бы выглядеть её покровитель или любовник, но никак не сын.

В поисках новых вкусовых ощущений она продолжала паломничества по ресторанам, но год шёл за годом, и это занятие начало утрачивать свою привлекательность. Разница между одним и тем же блюдом, съеденным в молодости и теперь, стала большей, чем между двумя разными блюдами, попробованными сейчас. Так же как трава не растёт под деревом грецкого ореха, не было больше тени под её руками – они стали прозрачными. Она носила глаза, посеребренные в уголках, говорила мало, смотрела на кончик ножа и вместо того, чтобы пить из бокала, просто целовала его, а мясо в своей тарелке кусала так, словно кусает любовника, которого у неё не было. Однажды, глядя на изображение в медальоне, госпожа Амалия решила предпринять нечто, что помогло бы ей сохранить хотя бы воспоминание о ребенке. Она пригласила одного берлинского адвоката (тогда она как раз находилась в Берлине), передала ему изображение мальчика и потребовала опубликовать его. Амалия Ризнич приняла решение усыновить юношу, который будет похож на её покойного сына. Дагерротип был напечатан в немецких и французских газетах, и к адвокату начали поступать предложения. Он отобрал семь-восемь портретов, которые больше других походили на тот, что находился в медальоне, но сразу же обратил внимание своей клиентки, что самым большим сходством, несомненно, обладал один из претендентов, с такими же седыми волосами, какие были у её сына. Амалия сравнила оба изображения и решила усыновить того, о ком говорил адвокат, седоволосого. Неизвестно, когда она узнала правду об этом человеке. Потому что время вредит правде гораздо больше, чем лжи.

В дверном проеме она увидела человека настолько похожего на её сына, уже седого, такого, каким он был за полтора года до смерти, что просто окаменела. Она была счастлива так, словно её мальчик воскрес из мертвых, и долго не могла и не хотела узнавать в нем своего собственного бывшего мужа, изменившегося, постаревшего, седого, как две капли воды похожего на сына незадолго до смерти. Счастливая, она усыновила его, обращалась с ним так же, как и раньше с сыном, когда он был ещё жив, с той лишь разницей, что теперь она не чувствовала ни страха, ни грусти. Она возила его в Париж на выставки и водила в самые изысканные рестораны, восхищенно щебеча:

– Голод больше всего похож на времена года, потому что он бывает четырех видов: русский, греческий, немецкий и, конечно, сербский!

Охваченная восхищением, она повсюду вокруг себя сеяла мелкие монетки, она теряла их на каждом шагу так же, как раньше находила, монетками был полон дом, она роняла их везде, где только могла: в собственные шляпы, в ящики комодов, в умывальники, в туфли...

– Как ты красив, как похож на отца, просто вылитый он! – шептала она своему приемному сыну и целовала его. И вот как-то утром все это безумие, или забвение, или чрезмерная воскресная тоска, трудно сказать, что именно, разбились о совершенно неожиданное намерение. Дело в том, что все так бы и шло своим чередом, хотя ни о какой очередности не могло быть и речи, не зародись у госпожи Амалии намерение женить своего приемного сына, то есть бывшего мужа.

– Самое время, он так красив, все ещё красив, как и прежде, но красота – это болезнь, и в любой тарелке под едой всегда есть дно. Если не он, то я старею, а мне хочется быть молодой перед моими внуками, поэтому следует поспешить с женитьбой...

Пфистер погрузился в отчаяние, он чувствовал, как жар его трубки медленно спускается по кисти руки к ладони, его волосы с проседью колеблются, куда им лечь, в какую сторону – черную или белую? Наконец они безоговорочно определились за белую, и он впервые стал выглядеть старше своего сына. Он молча сносил все причуды госпожи Амалии до тех пор, пока она сама не принялась искать и не нашла ему в конце концов невесту из прекрасной семьи в Пеште, с огромным приданым, которое начиналось в Будиме и заканчивалось в Эгре. Тогда Пфистер решительно заявил, что жениться не намерен, что он любит другую, что это несчастная любовь, потому что та, другая, никогда не сможет принадлежать ему. Госпожа Амалия одновременно обрадовалась и вспылила и настоятельно попросила рассказать, кто же это посмел отказать Ризничу, то есть Пфистеру, но он отвечать не хотел. Он молчал, они сидели немом, она смотрела на него, а он читал и перелистывал страницы книги так быстро, словно пересчитывал денежные купюры, а потом она неожиданно с вызовом сказала ему, словно в ответ на это молчание или чтение:

– А вот и не так!

– Нет, – ответил он, – именно так. Единственная женщина, которую я люблю, на которой я хотел бы жениться и которая больше никогда не будет моей, это ты...

Она расплакалась и только тут призналась и себе, и ему, что знает и то, кем он ей действительно приходится, а кем нет, и то, что они не могут быть вместе. Ни единой ночи. Потому что, что же будет, если у них снова родится ребенок?

– Нет, только не это! Только не это! – повторяла она как в бреду, и они расстались, на сей раз навсегда. Он остался её приемным сыном и, прощаясь, сказал ей задумчиво:

– Знаешь, со мной давно уже что-то творится, что-то такое, даже не очень странное, что бывает, видимо, с большинством людей. Я иду и никак не могу начать шаг так, как нужно и как бы я мог, – все время наступаю кому-нибудь на пятки. Пытаюсь быть как можно внимательнее, но чья-нибудь пятка постоянно оказывается у меня на пути, перед пальцами моей ноги. Словно им, моим пальцам, всегда нужна не только своя собственная пятка, та, которая сзади, но ещё и чья-то чужая, та, что впереди. Чья же? – задаю я себе вопрос. Может быть, это ахиллесова пята, в которую мы ранимы, но ведь она не наша, а именно что чужая, та самая, которая вечно подстерегает наши пальцы, чтобы замедлить наш ход, сузить наш шаг... Словно при движении действительно необходимо наступать

на чужие пятки, если ты вообще хочешь идти, продвигаться вперед. А наш Александр, возможно, и не натыкался ни на чью пятку. Потому и ушёл так быстро...

Такими словами простился с ней Пфистер, и больше они никогда не встречались, но тем не менее однажды утром госпожа Амалия проснулась в ужасе, с теми же словами на губах, с которых начались её беды:

– То, что нам в октябре кажется мартом, на самом деле январь...

Она почувствовала, что носит под сердцем нечто подобное новому плоду. Это нечто, которое она все время чувствовала, постепенно росло в ней вместе с её ужасом. Зародыш становился все крупнее, занимал все больше места, хотя снаружи ещё ничего не бросалось в глаза. Она была ошелоmlена, потому что после всего ужаса, пережитого при жизни ребенка, а потом и после его смерти, которая в некотором смысле стала спасением, она больше не чувствовала потребности в любви и уже много лет ни с кем не делила постель. Тем не менее то, что находилось у неё под сердцем, продолжало расти, становилось все крупнее. И только после того как прошло целых двенадцать месяцев, а её талия никак не изменилась и ничего видимого не произошло, госпожа Амалия поняла, что вместо повивальной бабки ей следует обратиться к врачу. Она была больна.

Если читатель будет терпелив настолько, сколько нужно для того, чтобы зажил обожженный супом язык, он сможет узнать, как она вылечилась. Причем окончательно.

...

– Вещь, более всего похожая на мысли, – это боль, – шептала госпожа Ризнич, снова отправляясь в путь и неся под сердцем свою болезнь. В путь по тем же самым местам, от Венеции и Берлина до Швейцарии, где некогда вместе со своим мужем, перебираясь с места на место, искала она умирающие блюда и напитки и где теперь надеялась найти угасающее и исчезающее здоровье. От врача к врачу, с курорта на курорт перевозила госпожа Ризнич свои кольца на больших пальцах прекрасных рук, серьги прабабок Ржевуских, в камнях которых содержалось по капле яда, переселяла свои платья с зашитыми в подол цветами лаванды и показывала Европе свою болезнь.

– Ну, болячка моя, что же ты так разыгралась! – говаривала она, когда у неё начинались колики, продолжительные, как сложноподчиненное предложение, причем по мере того, как они становились все более продолжительными, все более краткой была её речь, которая, казалось, уступала место боли. Тут ей порекомендовали одного лондонского терапевта. В Бретани она набрала в рот вина, преодолела Ла-Манш на поезде, который погрузили на пароход, и в Англии вино выплюнула. Сидя в приемной у врача, она перемещала кольца с пальца на палец, и он, осмотрев её, покачал головой и сказал:

– Я могу дать вам один-единственный совет. Живите в настоящем. Только так вы сможете уравняться со всеми другими людьми. Потому что, в сущности, мы все всегда мертвы для нашего будущего. В завтрашнем дне нас нет, нет настолько, словно мы

никогда и не рождались, в завтрашнем дне мы похоронены, словно в передвижном гробу, который перемещается во времени и следует впереди нас, откладывая конечный исход ещё по крайней мере на ближайшие двадцать четыре часа. И вот в один прекрасный день мы его нагоняем, нагоняем этот завтрашний день. И это завтра, в котором нас нет, в котором нас никогда раньше не было, переходит в наш нынешний день и поселяется в нем. И тогда всему приходит конец. Тогда больше нет завтра. Подумайте обо всех нас, находящихся в таком положении, и вы увидите, где находитесь и вы сами...

В ужасе от столь беспощадного приговора Амалия Ризнич бежала из Лондона. Возвращаясь также поездом и сидя в вагоне-ресторане, она услышала от случайной попутчицы, что где-то в Европе есть лечебные грязи, которые лечат такие болезни, как та, что носит в себе и кормит Амалия Ризнич, а в это время её болезнь действительно начала требовать все больше и больше пищи. Теперь, пожалуй, даже можно было сказать, что путешествовать по знаменитым ресторанам в третий раз госпожу Амалию заставляла именно её болезнь, которая требовала самых изысканных блюд, причем таких, которые ей раньше не нравились. Эта попутчица даже вспомнила название этого грязевого курорта, которое госпожа Амалия записала на ленте своего парика из перьев. Оно было такое: «Кошачьи Грязи». На первом же постоялом дворе в Бретани госпожа Амалия обзавелась картой Европы и попыталась найти место с таким названием. Ей казалось, что стоит бросить взгляд на карту, и она найдет его тут же. Но такого места на карте не было. В Париже она купила другую карту, большего размера, и попробовала отыскать нужное место на ней, но тоже напрасно. Потом взяла энциклопедию Брокгауза в надежде, что это ей поможет найти желаемое имя, но оказалось, что она даже не знает, на каком языке ей сообщили название. Ведь по-французски «Кошачьи Грязи» будет совсем не так, как по-немецки или по-русски. На какую букву должно оно начинаться? Так госпожа Амалия отказалась от помощи энциклопедий и карт и начала устные расспросы. Во Франции она не обнаружила и следа того, что ей было нужно, и решила тогда вернуться в Вену.

Шёл снег, такой, что откроешь рот, и язык занесет. Боли теперь возникали хором, и госпожа Амалия умела точно распознавать среди них одну, которую можно было назвать запевалой. Иногда у неё появлялось чувство, что все эти боли она могла бы исполнить на флейте. К сожалению, и в Вене никто не смог направить её туда, куда она хотела. Тогда она послала слуг что-нибудь разузнать на железнодорожном вокзале, и один машинист сказал, что слышал, как кто-то из пассажиров, лечившийся, по его словам, грязями, расспрашивал об этом же месте и потом отправился в направлении Пешта. Так Амалия поехала к матери в Пешт.

Ее отца уже давно не было в живых, мать с трудом слышала, что говорят другие. Амалия застала её с глазами прозрачными, как чистый снег, и на мгновение взгляды матери и дочери соприкоснулись, образовав нечто похожее на сообщающиеся сосуды. Но длилось это лишь один миг.

«Человек в больших количествах тратит только хлеб, одежду, башмаки и ненависть, — думала госпожа Амалия в Пеште. — Всего остального — любви, мудрости, красоты — на свете так много, что его не растратишь. Бесценного всегда слишком много, а обычного всегда не хватает...»

Те из друзей отца, которые ещё были живы и которым она в Пеште наносила визиты, никогда не слышали о «Кошачьих Грязях», хотя и унаследовали от своих предков значительную часть пустынных венгерских земель. Правда, некоторые из них слышали, что лечебные грязи есть где-то на юге, но они понятия не имели, действительно ли именно там находится место, рекомендованное госпоже Амалии. Ей советовали направиться из Пешта в сторону Балатона, а оттуда на юг, к Капошвару, пытаясь по пути узнать что-нибудь более определенное.

Погода была прекрасной, болезнь ждала дождя и на некоторое время затаилась, госпожа Амалия вздохнула над своей чашкой севрского фарфора, наполнила плетеный дорожный сундук платьями и вином деда Ризнича и с одной служанкой и кучером отправилась в путь. Везя с собой лепёшку, замешанную на колбасках, и маринованный перец, фаршированный хреном, однажды утром, таким прозрачным, словно это рассвет пятого времени года, госпожа Амалия оказалась посреди пустоши, где была одна только пыль да грязь. Нигде ни одной живой души. Лишь только бесконечность – и за спиной, и впереди, испещренная вечными звездами. И лишь иногда по небу чёрным облаком стремительно проносилась стая птиц. Госпожа Амалия уже третий день продвигалась на юг, окруженная запахом грязи, но это была не та грязь, которую она искала. Вскоре кучер потерял представление о том, где они находятся. Он сошёл с козел, беспомощно осмотрелся кругом и разозлился. Плюнул себе на ладонь, хлопнул ладонями друг о друга и поехал в ту сторону, куда брызнула слюна. В тот день после полудня они снова выехали к каким-то грязям, и вдали перед ними показался дымок. Подъехали ближе и увидели бахчу. Сторож жарил на углях початки кукурузы. Он предложил им купить что-нибудь с бахчи, к примеру крупный зрелый арбуз, чтобы подкрепиться и освежиться прямо сейчас, а ещё пять маленьких, размером с кулак, взять с собой и дома засолить. И ещё предложил жареной кукурузы с сыром.

– Сыр, госпожа, важный барин, – добавил он. – Вокруг него много побегать приходится.

Услышав эти слова, госпожа Амалия внимательнее посмотрела на человека. У него прямо на голое тело был надет меховой тулуп. В ушах вместо серег висели крестики.

– Где мы находимся? – спросила она.

– В Бачке, где же еще!

– Как называется это место?

– Грязи.

– Просто – Грязи?

– Кошачьи Грязи, – произнес сторож.

– Значит, все-таки мы добрались, – с облегчением вздохнула госпожа Амалия и развязала ленты своей шляпы.

– Они лечат?

– Кто не умрет, тот вылечится. Хорошая здесь земля, может живого человека родить.

– А кто бы здесь мог сдать в аренду место для купаний?

– Не знаю, надо хозяев спрашивать.

– Кто-нибудь из них здесь есть?

– Никого. Уже лет пятьдесят, – ответил сторож. – Я здесь один. Хозяева далеко. Да их не так много и осталось.

– Что это значит? – спросила госпожа Амалия.

– Да то, что старый господин умер. Теперь осталась только молодая хозяйка.

– Так где же она?

– А бог её знает. Она и сама, видать, толком не понимает. Говорят, она на Святого Прокопия не купается. Скитается где-то по свету и за одно место не держится. Болтают, что сейчас она в Пеште...

Тут госпожа Амалия начала мысленно перебирать имена своих сверстниц из Пешта. И вдруг взгляд её остановился на только что купленном арбузе.

– Как зовут твою госпожу? – спросила она и получила ответ, о котором читатель, конечно, уже догадался.

– Амалия Ризнич, в замужестве Пфистер... Наверняка вы слышали её историю, – ответил сторож. – Не могли не слышать... То, что у неё случилось с сыном. Редко такое бывает. Но поучительно. Его бог, бог того самого маленького Пфистера, ещё не был достаточно взрослым в тот самый решающий момент. Просто он, этот бог, созрел медленнее, чем мальчик. Бог был ещё несовершеннолетним в тот момент и не мог задержать ребенка и замедлить его движение, так же как нас затормозили и задержали здесь наши боги. У мальчика не было никого, кто запретил бы ему попробовать яблоко познания. Он попробовал его сам – и сам ушёл отсюда, из рая, в добровольное изгнание на Землю. Потому что тот, у кого откроются глаза, должен сменить мир...

Амалия Ризнич, в замужестве Пфистер, на миг замерла, словно её оглушили, потом скинула туфли, сняла чулки и шагнула прямо в грязь. В спасительный холод своей черной и жирной земли. И эта земля приняла и объяла её ступни, словно желая укоренить их здесь.

• • •

I

Ранним утром, усевшись на припеке, императорский вольноотпущенник Аркадий надвинул на лоб шляпу из рыбьей чешуи и принялся за свой завтрак – маслины с красным вином. Поглощая их, он не спускал глаз с котят, что гонялись за бабочками в тени ближайшего дерева, а также со старика, сидевшего напротив. Старик непрерывно взбадривал себя уксусом и злым красным перцем из висевшей у него на шее связки. Под плащом явственно проступал его огромный член, похожий на свернувшуюся в песке змею. Аркадий напрасно силился вспомнить, как зовут старца.

«Имена людей подобны блохам», – подумал Аркадий и, выплюнув косточку маслины, вернулся к своему занятию. Он учился у старика читать.

«Inter os et offam multa accidere possunt», – читал Аркадий надпись на глиняном светильнике. На светильнике была вылеплена женщина, лежавшая на мужчине. Ноги любовника покоились у неё на плечах, сама же она уткнулась лицом в его живот. Чтобы лучше уразуметь надпись, Аркадий перевел её на греческий: «Всякое может случиться, пока несешь кусок ко рту».

Юноша давно уже читал по-гречески, а теперь учился читать по-латыни. Плащ на нем был тонкий, словно подбитый водой Наисуса⁴), а сам он был ещё настолько молод, что в запасе у него был всего один год тревожных снов, два любовника и только одна любовница, учение давалось ему легко, и он очень скоро научился писать, а уж потом читать. Вначале он перерисовывал буквы, не понимая, что они значат, но теперь мог и читать по складам. Он читал подряд всё, что только можно было прочесть. Начав с чтения по складам надписей вроде «Agili», «Atimeti», «Fortis» или «Lucivus», оттиснутых клеймом на масляных светильниках, он, словно вырвавшись в открытое море, продолжал затем складывать надписи, украшавшие каменные пороги и треножники, стены домов и храмов, надгробные камни, подсвечники и мечи, перстни и посохи; он читал написанное на дверных косяках и печатях, на стенах и колоннах, на столах и стульях, в амфитеатрах, на тронах и на щитах, на умывальниках и в купальнях, на подносах, за занавесями и в складках одежды, на стеклянных чашах. На мраморе театральных сидений и на знаменах, на донышках тарелок, на сундуках и под кольчугами, на медальонах и под бюстами именитых граждан, на гребнях и пряжках, внутри ступок и котлов; он прочитывал надписи на шпильках и лезвиях ножей, на солнечных часах, на вазах, поясах и шлемах, на песке и в воде, в птичьем полете и в своих снах. Но особенно – на замках и ключах.

Ибо у Аркадия была тайная страсть: он любил красивые ключи. Попадался ли ключ, отпиравший сундук или городские ворота, старый висячий замок или храм, Аркадий умел потихоньку сделать восковой оттиск, а потом отлить копию ключа в металле. Он вообще любил и умел работать с расплавленным металлом. Ему сразу вспоминалось детство,



⁴ Наисус – древнее название реки Нишавы, протекающей через современный югославский город Ниш. (Здесь и далее – прим. автора.)

проведённое в окрестностях большого рудника, где ковали монеты с надписью «Aeliana Pincensia».

Время от времени Аркадию попадались старые, давно вышедшие из употребления ключи – ключи-вдовцы, ключи, отлученные от своих скважин. Для них он отливал или выковывал новые ручки, придавая им форму звездочек, роз или человеческих лиц. Особенно он любил приделывать к своим ключам монетки с изображением императора Филиппа Арабского или ещё какого-нибудь правителя, на оборотной стороне которых угадывалось женское лицо с надписью «Abundantia» или «Fortuna».

Поглядев на изделия своего ученика, учитель однажды сказал ему:

– Если идти довольно долго на север, дойдешь до поймы реки, которая называется Данувиос, или Истр (⁵). Там ты найдешь Виминациум (⁶), а в нем – императорский монетный двор. И ты увидишь, как там в мастерских куют медные деньги.

– Что такое север? – спросил Аркадий.

– Это когда в пути солнце греет сначала одно ухо, а потом другое.

До самого вечера Аркадий ни разу не вспомнил о словах наставника. Тогда старец изрёк следующее: «Благо тому, кто приглашен на пир по случаю свадьбы бараньей...»

При этих словах Аркадий ощутил, что время вокруг него расширяется с головокружительной быстротой, и с той же быстротой он начал удаляться от самого себя. Без малейших колебаний он покинул Медиану, где жил до тех пор, оставив на произвол судьбы и свой дом с колодцем, где всегда была осень, и свою обезьянку, которая умела играть в кости и выигрывать.

Уходя, он не успел спросить учителя, как же его все-таки зовут. С собой он взял только связку ключей и шляпу из рыбьей чешуи, подаренную ему старцем.

II

«В каждом городе властвует свое время года», – думал Аркадий, направляясь на север и ловя солнце ушами. Оказавшись на дороге, ведущей от Фессалоник к пойме Данувиоса, он сразу начал усердно молиться Гекате, покровительнице путей и перепутий. Он шептал:

– В дыму очагов гомон слышится птиц и первые тают снежинки. В глазах моих снег превращается в слезы, и, веки свои смежив, свой взор обращаю к тебе сквозь хладные капли. Ветер дороги чернеет, деревьев стволы один за другим приближаются, точно зловещие звери, что, жаждой томимы, бредут к водопою... И впрямь, по дороге ему то и дело встречались ужасные картины смерти. Деревья были увешаны трупами, как плодами. Каждая из этих смертей могла подстеречь и его, и он пришёл к заключению, что ни одна,



⁵ Дунай.

⁶ Римский город при впадении реки Млавы в Дунай, близ современного югославского городка Костолац. Впервые упоминается и 86 г. до н.э.

даже самая счастливая, жизнь не стоит такого страшного и долгого конца. Усталый и перепуганный, он продавал один за другим свои ключи, которые казались ему все тяжелее. Путешествие затягивалось.

Но тут с Аркадием произошло нечто приятное, и он укрепился в своем намерении добраться до монетного двора. Увидев вдали какой-то город, он было обрадовался, но ему сказали, что это Сингидунум ⁽⁷⁾, что он слишком сильно отклонился к западу и что ему надо свернуть на восток, чтобы добраться до Виминациума. Выслушав это известие, Аркадий не огорчился. Он как бы его вообще не расслышал. Как зачарованный он рассматривал прекрасный бронзовый бюст, установленный на перекрестке.

Когда же он сначала почуял запах реки, а потом и услышал огромный, свирепый Данувиос, разрывавший ночную тьму своим ревом, на пароме уже не было перевозчика. Говорили, что по вечерам на переправляющихся через реку нападают духи, стоит только удалиться от берега.

Один-единёшенек он уселся на паром и поплыл сквозь мрак и туман. Примерно на трети пути он почувствовал, что линяет, как собака. Затем ощутил мужское желание, и, наконец, на голове его выросли чьи-то чужие волосы. Явно женские. Когда он перевалил за половину пути, вошла полная луна, и при свете её появилась желтая бабочка, порхавшая над какой-то темной фигурой в углу парома. Аркадий вскрикнул и столкнул духа в реку. Он услышал плеск воды, кое-как подогнал паром к берегу и бегом пустился в ближайшую корчму, огонек которой светился в ночи.

Аркадий уже грыз пересохшую лепёшку в форме шестилистника, когда в корчму вполз кто-то грязный, промокший до костей и перепуганный, и уселся рядом с ним. Под плащом у него тряслась третья грудь, выросшая над левой.

– На меня только что на реке напал дух, он сбросил меня в воду! – воскликнул незнакомец.

– А я тоже встретил духа на пароме, – ответил Аркадий, начиная понимать, что произошло.

И путники расхохотались, узнав друг друга.

– Для духа ты оказался слабоват, приятель, – заметил Аркадий и хотел было в шутку толкнуть своего собеседника, но заметил, что над плечом у того, подобно лучику света, по-прежнему трепещет желтая бабочка.

Аркадий засмотрелся на бабочку и хотел её поймать, но она не давалась в руки.

– Не трогай её, она не причинит тебе вреда, – сказал незнакомец. – Говорят, она меня сопровождает уже много лет её видят все, кроме меня.

– Зачем она тебе?

– Кто её знает. Я думаю, это дух света и любви, тот, кто определяет форму душ, иными словами, мой демон женского рода... Имя его Эрос. У каждого мужчины вьется над плечом демон женского рода, а у каждой женщины – демон мужского рода. Это демоны похоти. Говорят, моя бабочка вьется вокруг меня, даже когда я работаю в мастерской.

– А кто ты такой?

– Я раб. Я принадлежу к сословию, которое называется *familia monetalis*.

– Что это значит?

– Это значит – работники императорского монетного двора.

– Ты делаешь серебряные сестерции?

– Нет, я выковываю *pummi mixti*, Это самый противный способ изготовления денег в Виминациуме.

– В Виминациуме?

– Да.

– А на каком берегу реки Виминациум?

– Да на том, с которого мы с тобой переправились на пароме.

– Значит, я приехал не на тот берег?

– Если ты направляешься в Виминациум, тебе придется вернуться по воде. Ждать парома ты будешь до завтрашнего вечера. Ведь его уже угнали обратно. *Cras, eras, semper eras...* ⁽⁸⁾

– Что ты сказал?

– Завтра, завтра, всегда завтра, мой мальчик. Вся жизнь человека сводится к этому «завтра»... Но что до меня, я завтра не поеду в Виминациум.

– А куда?

– Меня отправил с поручением *procurator monetae* ⁽⁹⁾, и я вернусь через двадцать дней...

– Кто такой *procurator monetae*?

III

Итак, Аркадий продал свой предпоследний ключ, выспался и вечером следующего дня снова стал переправляться через Данувиос. В костях у него поселился страх, а на голове шевелились женские волосы.

⁸ Завтра, завтра, всегда завтра... (*лат.*)

⁹ Управляющий монетным двором (*лат.*).

Он был на пароме совершенно один. Насколько хватало глаз, не было никого. Царила мелодичная тишина. Он слышал, как огромные сомы выплескиваются на берег, чтобы попасть на траве, и ещё слышал, как свистят его уши – левое басом, а правое тоненьким голоском. Для храбрости он запел. Он уже почти доплыл до противоположного берега, когда заметил, что рядом с его голосом ту же песню почти беззвучно поет ещё один голос, совсем близко, у него за спиной. Не решаясь обернуться и перестав чувствовать левой рукой правую, он вдруг вскрикнул и решился напасть первым. Неизвестное существо стало яростно сопротивляться, запутывая его своими длинными волосами, как гладиаторской сеткой. Оба они упали на дно парома, причем Аркадий почувствовал, что под ним бьется демон женского рода.

«Эмпуса»⁽¹⁰⁾, – в ужасе подумал он. Дьяволица вlepила ему пощёчину, а он овладел ею со всей мощью своих нерастрченных мужских сил. Потом столкнул её в мутную прибрежную воду, а сам бросился бежать в корчму, видневшуюся невдалеке от пристани.

Внутренность этой бревенчатой хижины напоминала скотный двор. У очага толпились раскрашенные деревянные поросята, зайцы, гуси, петухи и цыплята: посетитель сразу видел, что ему могут предложить.

Аркадий ел яйца, испечённые в скорлупе, когда вошла девушка, вся промокшая и испачканная. Она села рядом с ним у огня и стала сушить волосы. Девушка произнесла:

– Я встретилаcь на пароме с духом. Еле жива осталась. Он столкнул меня в воду.

– Знаю, – отвечал ей Аркадий, – я тоже встретился на пароме с дьяволицей. Еле выпутался из её волос. Она унесла мою шляпу из рыбьей чешуи, ту самую, что сейчас у тебя на голове.

Оба улыбнулись. Она сказала ему:

– Для духа ты оказался слишком слаб. А он ей ответил:

– Зато ты оказалась слишком сильной для женщины.

– Дьявола видит только тот, кто хочет его видеть, – заключила она, возвращая ему шляпу. Уходя, она спросила: – Откуда у тебя шляпа из рыбьей чешуи? Знаешь ли ты, что означает рыба?

– Нет.

Она улыбнулась и добавила:

– Если в ближайшее время пойдешь на базар, купи первую вещь, которую тебе предложат. Остальное – моя забота.

Поутру Аркадий позавтракал вином и маслинами и решил не торопиться в Виминациум. Ему наскучило путешествовать. Хотелось ненадолго остаться там, куда он приплыл, отдохнуть у большой реки. Он шептал про себя:

¹⁰ В древнегреческой мифологии чудовище в виде девы, увлекающее за собой свои жертвы.

– Из немытой посуды отхлёбывать свет луны в молодых садах, шуршащих босыми тенями, вишнями и листвой...

IV

Прошла весна, когда луга пахнут завтрашним утром, наступило лето, и нивы запахли вчерашним днем. Аркадий отправился на рынок купить дарданского сыра. Не успел он найти сыр, как какой-то торговец предложил ему вещицу, подобной которой Аркадий никогда не видывал. Это была вырезанная из дерева и раскрашенная странная фигура юноши, широко раскинувшего руки.

– Что это у тебя? – спросил Аркадий торговца.

– Да вроде бы ключ, – отвечал тот.

– Деревянный ключ?! – изумился Аркадий и стал пристально разглядывать статуэтку.

Распростертые руки человека служили ручкой, а скрещенные ноги – «пёрышком», то есть той частью ключа, которая вставляется в скважину. Фигурка имела четыре отверстия: по одному в каждой ладони, одно – в скрещенных ступнях и ещё одно – между ребрами.

– Кто этот человек? – продолжал допытываться Аркадий.

– Сын Юпитера. А мать его – еврейка.

– К какому же замку он подходит?

– Замок этот надо ещё найти. Мне говорили, что он открывает все замки, но я не пробовал.

Аркадий улыбнулся и купил ключ. «Еще один ключ-вдовец», – подумал он и пошёл дальше, держа ключ под мышкой. Однако вскоре он почувствовал, что идет не один. Кто-то шёл за ним, ступая точно по его следам. Он оглянулся и увидел девушку с волосами цвета воронова крыла, уложенными на голове в некое подобие храма. В руке она держала птичью клетку. Клетка была пуста, но её прутья звенели, как струны лиры.

– Что тебе надо? – спросил он. Запах её пота показался ему знакомым.

– Ничего.

– А почему ты идешь за мной?

– Я иду не за тобой. Ты купил меня вместе с деревянным ключом. Я следую повсюду за деревянным ключом и не смею от него отделиться. Меня зовут Микаина. Не бойся меня. Я не стану тебе мешать.

Аркадий вспомнил, что ни разу не кинул кости с тех пор, как оставил свою обезьянку в Медиане, и решил взять с собой девушку: авось сгодится, может, как-нибудь сыграем в кости.

Он повесил деревянный ключ на стену в снятой на последние деньги тесной землянке. Туда же он привел и Микаину. Землянка была такой глубины, что миска с водой могла в ней простоять три дня, не высыхая, а мысли вообще не забывались. В эти первые дни совместной жизни он заметил, что если с Микаиной разговаривать по-хорошему, то она становится просто красавицей; если же её бранить, то она дурнеет. Едва успев повесить свою клетку над входом в землянку, девушка запела. Быстро и без дрожи в голосе переходила она с самых тихих звуков на самые громкие, со скорых на медленные, с высоких нот – на басовые. И ещё его поразило, что она умела готовить, как никто другой. Когда он ей об этом сказал, она отвечала:

– Этот никто другой был Одиссей... Каждая женщина должна уметь готовить одно блюдо – одно-единственное, «её» блюдо. А к каждому блюду есть своя песня. Вот подлива из вина с укропом и икрой, которая тебе так понравилась, любит песню о рыбе. Под эту песню она получается лучше всего.

И она научила его петь песню о рыбе. Она часто будила его поцелуем и утверждала, что у каждого человека есть своя ночь:

– Не только у женщин, но и у мужчин каждый месяц бывают свои ночи. Это означает, что не все ночи – твои, но ты должен сам угадать среди всех ночей свою. После этого нужно догадаться, как её лучше использовать: для любви или для ненависти, чтобы украсть или чтобы смотреть на звезды, для мести или для исцеления во сне, для дальней дороги или для рыбной ловли. Одну и ту же ночь можно употребить на что угодно, но только две ночи каждого месяца принадлежат тебе, и ты можешь ими правильно воспользоваться только однажды. Если ошибешься, можешь этого и не заметить, но потом непременно заболеешь...

– Зачем мне гадать, какие ночи мои?

– Чтобы очиститься. Ты можешь очиститься только в эти ночи.

V

Как-то вечером, когда он вошёл в землянку, все углы комнатки были наполнены волосами цвета воронова крыла, а Микаина стояла на коленях под шатром своих расплетенных и расчесанных кос, протянув сложенные руки к висевшему на стене деревянному ключу.

– В сложенных ладонях – забытые нами слова.

Не успела она это произнести, как он окончательно узнал её волосы. Она поднесла к его уху сомкнутые раковиной ладони, и он услышал из них фразы на греческом, кельтские стихи и синагогальное пение.

Разомкнув её ладони, он увидел в них поющую морскую раковину. Он прикоснулся своей горячей кожей к её прохладным пальцам и уже не мог от неё оторваться.

– Cras, eras, semper eras... – шептала она, умоляя его научить её одеваться в мужскую одежду. Они раздели друг друга и снова одели, он её – в свою мужскую одежду, а она его – в свою женскую. Потом она закинула его ноги к себе на плечи и уткнулась лицом в его живот.

«Всякое может случиться, пока несешь кусок ко рту», – вспомнил Аркадий, вытягивая губами из её сосков две крошечные пробочки, подобные зернам песка. Так он понял, что она давно не знала любви. Он упал на неё, и Микаина почувствовала, как растёт и дышит у неё под сердцем продолжение его тела. Он выбросил семя, напоенное маслинами и вином, и произнес, опрокинувшись на спину:

– Вечная и грязная душа поглощает тело.

Она окинула его взглядом. На животе у него белела большая влажная форель с раздутыми жабрами.

– Что есть душа? – спросил он.

– Ты слышал о лабиринте на острове Крит? Душа и тело – лабиринт, – тихо ответила она, – ибо и у лабиринта есть душа и тело. Тело – это стены лабиринта, а душа – дорожки, ведущие или не ведущие к центру. Войти – значит родиться, выйти – умереть. Когда стены рухнут, остаются только дорожки, ведущие или не ведущие к центру...

Они умолкли, лёжа под деревянным ключом. В мыслях Аркадий удалился от неё на 1356 морских миль. Он купался у острова Патмос с юношей, чьи волосы напоминали белые перья.

– Так ты и есть та самая дьяволица с парома? – наконец произнес он. – Говорят, такие, как ты, видят во сне будущее. Что такое будущее?

– Cras, cras, semper cras, – услышал он в ответ.

Микаина долго не отвечала на его вопросы о пророческих снах и о будущем её ответы звучали загадочно, как, например: «Пойди и прислушайся, что доносится из моей клетки».

Это его сместило: ведь клетка была пуста. Но время от времени действительно из неё доносились то вопли, то смех, смешивающийся со звоном железа, то любовные стоны, вой ветра или шум воды. В этих звуках не было, однако, ответа на его вопрос о будущем. Наконец Микаина произнесла следующее:

– На дне каждого сна, глубоко-глубоко, прячется смерть того, кому он приснился. Вот потому-то мы, едва проснувшись, забываем самые глубокие сны. Ибо и прошлое человека, и его будущее живут только в тайнах. Во всем остальном они мертвы. Наше будущее – неизвестный нам чужой язык. Будущее – огромный континент, который нам предстоит открыть. Может быть, Атлантида. Там не имеют хождения наши монеты. И наши взгляды там не имеют цены. Будущее видит нас, когда мы смеемся или плачем. Иначе оно нас не узнает... Но не забудь: если я вижу будущее, это не значит, что я его строю! Скажу тебе по секрету, будущее не менее противно, чем прошлое, и, хотя я постоянно с ним общаюсь, я не всегда на его стороне... Сказано: «Горе живущим на земле и на море!»

Потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что не много ему остается времени» (¹¹).

– Так сегодняшняя ночь – твоя? – догадался Аркадий, вдруг перестав слышать, что говорит Микаина.

VI

На другой день он достал свои игральные кости и начал их бросать. Микаина не угадала ни одного числа и не выиграла ни одного кона. В утешение он подарил ей большое бронзовое кольцо с самым красивым из своих ключей. Она надела его на шею и принялась за шитье.

Не переставая шить, она наставляла его:

– Если хочешь быть ясновидящим, смотри не только свои мужские сны. Кто хочет получить ключ к будущему, должен научиться видеть сны и женские, и мужские. Научись также видеть разницу между ними.

– Какие бывают женские сны? – спрашивал он.

– Думаю, это тебе неинтересно. Твое дело – мастерить и ковать ключи или монеты, чей век длится до завтра или до воцарения нового императора. Лучше я тебя научу другому. Тебе необязательно самому видеть будущее. Не стоит ради этого втирать в глаза отвары укропа, петрушки и других трав. Что будет завтра, ты прочтешь в чужом сне.

– *Cras, eras, semper eras*, – повторял он. – Сон, как и будущее другого человека, можно похитить и украсть. Я тебя научу воровать чужие сны. Даже мои, если захочешь. Сны следует красть во время болезни, и лучше всего, если нездоров и вор, и тот, кого обворовывают. Сядь подле спящего и жди, пока его сон наберет силу. Тут сразу разбуди его поцелуем в губы и утащи вместе с поцелуем недосмотренную половинку его сна, как лиса уносит в зубах украденную курицу. Похищенные сны я запираю в клетку. Когда у меня хорошее настроение, я отпускаю их на волю, как птиц. Среди них есть сны и мужские, и женские. Их можно расслышать... Но твои сны я не держу в клетке. Их я храню в раковине...

– Что такое ты шьешь? – вдруг спросил Аркадий. На полу были расстелены великолепные одежды самых разных оттенков. Тут были плащи, расшитые красной шерстью, и платья цвета влажной корицы, другие – цвета молодого мха, третьи – раскалённого опала или остывшей крови. Платья, очевидно, не предназначались для самой Микаины. Все они были огромных размеров.

– Это одеяния для нашего дома, – пояснила она. – Я хочу сшить самое дорогое и роскошное убранство для нашего дома... Я знаю, ты меня скоро оставишь. Пока ты ещё здесь, пусть наш дом будет лучше всех...

Она смотрела на него в упор и чувствовала, как пробуждается и множится в нем семя от её взгляда, от движений её ног, от аромата её волос. Потом она почувствовала, как его семя бурлит в ней, чтобы зачать дитя женского пола. Он упрекнул ее:

– Не оставляй последний кусок в тарелке, это к бедности!

– А я и хочу быть бедной, – отвечала она. Аркадий бросил взгляд на бронзовое кольцо с ключом на шее Микаины. Бронза потемнела.

– Что с тобой? Ты больна? – встревожился он.

– Ты разве не видишь? Вот уже две ночи я вижу во сне, как что-то перебегает через мою подушку? А ты?

– Да я уже три дня как умер.

Она улыбнулась и стала расчесывать волосы.

Пока она заплетала и укладывала косы, он с помощью шила и кусочка угля рисовал на глиняном черепке её изображение. Волосы у неё на портрете были туго уложены шлемом.

– Я тебя не люблю, Аркадий, – сказала ему она, играя масличной веткой, – я люблю другого.

– Кого же?

– Сама не знаю. Я его ещё не видела. Только слышала. Он кричит в твоём сне странным, не твоим голосом, и этот голос пугает меня. Несколько ночей тому назад этот голос раздался в час нашей любви. По ночам он призывает меня к себе из твоего тела. Я люблю его, а не тебя. Но ты, если расстанешься со мной, скорее утратишь себя, чем меня.

В ответ Аркадий стал рисовать её на другой стороне черепка во весь рост, с масличной веткой в руке.

Она опечалилась. Заметив это, он посадил её к себе на колени и стал развлекать, показывая монеты. На одном серебряном сестерции был отчеканен лев, и это означало, что такие деньги имеют хождение близ Сингидунума, где расквартирован четвертый легион Флавия. Он объяснял, в каком месте на монетах обозначается год выпуска, как можно узнать, где сделана монета и какой монетный двор её пустил в обращение – Siscia⁽¹²⁾, Stobi⁽¹³⁾ или Viminacium.

Разглядывая быка, оттиснутого на медной денежке, – а это был знак принадлежности к седьмому легиону Клавдия, – Микаина задумалась о том, что лев есть вместилище Солнца, а бык – жилище Венеры, и уснула.

¹² Древнее название города Сисак в современной Хорватии.

¹³ Античный город на реке Вардар (современная Македония).

Аркадий подождал, пока целая стая её разогнавшихся снов не свернула на запад, и вырвал один недосмотренный сон поцелуем. Вся в слезах, она проснулась, но он уже успел захватить добычу и теперь ясно видел все.

Во сне Микаины плыли по небу две дивные звучащие нити. Потом появился маленький сундучок. Он открылся, и Аркадий прочел, но не понял оттиснутые золотом на его крышке слова и цифры:

IBM – NOTE BOOK

THINK PAD 500

INTEL 80486 SLC2

50/25 MHz MICROPROCESSOR

Наутро Микаина спросила его, что он увидел в её сне, но для него этот сон ничего не значил. Так он и сказал. Затем открыл дверцы её клетки и выпустил на волю все сны. И её сон тоже.

VII

Как только наступила осень, Аркадий объявил:

– Мы жили быстро, и время для нас текло медленно, потому что мы его обгоняли. А теперь мы живем не спеша и наше время плывет все скорее... Хватит бездельничать, Микаина! Собирайся, завтра мы идем в Виминациум.

Он снял со стены деревянный ключ и пошёл его продавать на базар. Вернувшись, он застал все одеяния для дома, сшитые Микаиной, натянутыми сверху на их крохотную землянку. Он окликнул её, но никто не отозвался. Аркадий рванул ткань и шагнул внутрь, но и там никого не было. Он нашёл только кольцо с ключом, брошенное на постель. Почувяв беду, Аркадий бросился обратно на рынок, но не мог там найти человека, которому продал деревянный ключ.

Два дня он понапрасну расспрашивал всех и каждого. На третий день кто-то сказал, что человек, купивший деревянный ключ, сидел на паром. И что с ним была девушка. Аркадий направился было к реке, но остановился при виде людей, опрометью бежавших ему навстречу. На той стороне Данувиоса толпы варваров спускались к реке, намереваясь её переплыть. Можно было рассмотреть их лица, их лошадей, собак и захваченных в плен женщин. О варварах было известно, что они не знают, что такое вести войну. Они понемножку грабили и жгли, понемножку охотились, понемножку убивали, понемножку спали с женщинами, которых хватили по дороге. Каждый занимался всем этим где попало и когда попало. Воевать против них было бессмысленно. Они врывались всюду, как воды

разлившейся реки, и от них можно было только укрыться и переждать, пока они сами уйдут.

Аркадий задержался на берегу ещё на один день, сам не зная ради чего. Затем он все-таки решился переправиться на другую сторону и попытаться разыскать Микаину, пусть даже среди варваров. Хотя было известно, что четвертый легион Флавия не станет оборонять эту часть поймы, он все-таки купил себе меч на деньги, вырученные за деревянный ключ. Потом он спустился на берег, чтобы перебраться через реку. Но паром оказался на противоположной стороне. Не успевшие убежать путники стояли рядом с ним по колено в грязи. Все смотрели на север.

Тут они увидели, как на том берегу какой-то всадник погнал своего жеребца к воде и вместе с ним взлетел на стоявший паром. Не сходя с коня, он повел паром вниз по течению прямо к тому месту, где, сжимая в руках меч, стоял Аркадий. Было ясно видно, как течение несет паром с одиноким всадником. Потом стала видна обнаженная сабля, которую варвар держал плашмя над головой своей лошади. Аркадий понял, что всадник переправляет через реку огонь: на поверхности сабли горели семь огоньков. Едва причалив к римскому берегу, варвар не спеша съехал с парома и, пришпорив коня, повел его прямо на собравшихся людей, по-прежнему держа на сабле семь светильников, от которых распространялся сильный запах свиного сала. Подъехав к Аркадию, державшему наготове свой меч, варвар с криком «хоп!» в мгновение ока выдернул саблю из-под свечей, перерубил каждую из них в воздухе пополам и ловко подхватил на саблю, не погасив ни одной.

Увидев это, Аркадий и все, кто был на берегу, бросились бежать без оглядки и бежали три дня, пока не достигли Виминациума.

– Такого доблестного воина, как я, этот не то что саблей – и коркой хлеба перерубит, – шептал про себя на бегу Аркадий.

По пути он услышал от какого-то юноши, что неподалеку живёт известный ментор, чья школа располагается рядом с сукновальней, где прядут также и коврики для постелей. Любопытства ради он отправился туда и увидел учителя, окруженного многочисленными учениками, пришедшими из самых разных мест. Они с восторгом внимали ментору, и Аркадий решил к ним присоединиться. Школа располагалась под открытым небом, а обучение происходило во время прогулок. Это были уроки поэтики, риторики и метафизики. Все ученики были очарованы наставником. Но при всем при том Аркадий, к своему удивлению, заметил, что число их периодически уменьшается. Чтобы заработать себе на жизнь, молодые люди нанимались к суконщику. Время от времени приходилось так поступать и самому Аркадию. Иногда он тайком от всех доставал из узелка со своими вещами глиняный черепок с нацарапанным на нем изображением Микаины и подолгу смотрел на него. Как-то раз несколько учеников, из тех, что постарше, отлично успевавших, вдруг прервали уже почти законченное обучение и перешли на постоянную работу в сукновальню. Видя это, Аркадий спросил учителя, почему он не попытается остановить их.

Тогда и Аркадий покинул школу и направился в Виминациум.

В Виминациуме он встретил своего давнего знакомого с паром, раба, над плечом у которого по-прежнему висела желтая бабочка.

– *Cras, eras, semper eras*, – повторил он опять, не переставая улыбаться. Он отвел Аркадия к мастеру монетного двора, которому показал изготовленный юношей ключ. Новичка приняли и поручили ему отмеривать пластинки для медных монет.

Работа Аркадию нравилась, и он выполнял её с прилежанием. Когда его друг скончался, Аркадию доверили вместо него изготавливать посеребрённые бронзовые монеты. Такие деньги назывались *nummi mixti*.

Но как только выкраивалось свободное время, Аркадий ходил по базарам, слушал, что говорят люди, и расспрашивал всех и каждого, не видел ли кто деревянный ключ, не встречал ли девушку с длинными волосами цвета воронова крыла. В поисках Микаины он наслушался на улицах и площадях самых разнообразных рассказчиков. Один придумывал прекрасные сюжеты, но не умел рассказывать. Другой, напротив, не умел ничего сочинять, но прекрасно пересказывал услышанное. Третий не владел искусством ни первого, ни второго, но был героем рассказов, которые передавались из уст в уста. На одном из тех, кто не владел даром красноречия, но являл собой живую притчу во языцах, была шляпа из рыбьей чешуи. Он-то и поведал Аркадию, что видел большой деревянный ключ на стене одного храма, что на берегу Понта. К тому времени Аркадий был женат и имел дочь Флациллу. Вышло это случайно. Однажды вечером на тесной улице какая-то девушка, торопясь по своим делам и проходя мимо, вильнула перед ним бедрами. Он её, по греческому обычаю, ущипнул. Девушка выронила бывшую у неё в руках подушечку для хранения душ и дала обидчику пощёчину. Аркадию померещилась памятная пощёчина Микаины на пароме, и он, за неимением времени на проверку, повалил девушку и сделал ей Флациллу. С тех пор они стали жить в Виминациуме втроем.

В его жизни после этого почти ничего не изменилось. Но, живя с женой и маленькой дочерью, он понял, что во сне и наяву у него два разных дня рождения. Во сне дата его рождения с головокружительной быстротой удалялась в прошлое, отодвигаясь на тысячи лет назад.

– Во сне человек старше, чем наяву, – заключил тогда Аркадий. – Во сне я несу на себе опыт всего рода человеческого, а наяву – только личный опыт одного существа, императорского вольноотпущенника Аркадия. Сны прошлого века отличаются от снов нашего столетия потому, что на наших висит ещё ровно сто лет прошедшей жизни. Сны, что снятся сегодня ночью императору Траяну Децию, несут на себе тяжесть на триста лет большую по сравнению с теми, которые видел Юлий Цезарь.

И вот до чего додумался Аркадий:

«Во сне мы старше, чем наяву. Во сне мы по сути дела бессмертны. Во сне мы обретаем вечную жизнь. Только во сне бессмертие движется против течения, оно начинается ещё до рождения и расширяется, убегая в прошлое. Во сне человек становится бессмертен задним числом».

И снова Аркадий вспомнил Микаину, которая все твердила, что вечная жизнь нам обещана в будущем, что бессмертие человека начинается после смерти и что вечность перед нами, а вовсе не где-то у нас за спиной. Эта мысль постоянно его тревожила. Микаина по-прежнему не оставляла его в покое.

Аркадий был приписан к мастерской, где отливали монеты в формах. Было это не бог весть какое увлекательное ремесло, ибо тем же способом часто пользовались и фальшивомонетчики. К тому же изображение на монетках получалось нечётким. Эта работа Аркадию не нравилась... Поэтому он, не раздумывая, простился с семьей и отправился вниз по реке к Понту Эвксинскому искать Микаину.

VIII

Он плыл на корабле о двух кормах, напевая песню о рыбе, когда к нему приблизилась незнакомая девушка в шляпе из рыбьей чешуи. Казалось, её привлекла песня. Он увидел, что груди у неё с огромными сосками, на которые, точно на пальцы, были нанизаны перстни. Сквозь перстни голубыми слезами капало молоко. Он попытался её обнять, но девушка оттолкнула его, сообщив, что она зареклась, ибо ей не позволяет кровь. Он понял её в прямом смысле, но девушка объяснила, что она – весталка и что в ней – кровь Бога.

– Sangreal, – добавила она, вынимая изо рта крохотный красноватый камешек.

– Что это?! – изумился он.

И весталка поведала ему притчу о камешке. Такие «королевские камни» – капельки крови Бога. Весталки наследуют эти камни из поколения в поколение вот уже триста лет. Во время обрядов в храмах эти камешки держат во рту, произнося через них молитвы. Поэтому одни камешки сильно обтёсанные и маленькие, а другие, которые использовались реже, – побольше. Превыше других ценится крохотный красный камешек, хранимый ныне в одном из храмов Палестины. Легенда гласит, что он принадлежал весталке по имени Магдалина. Магдалина давно уже скончалась в Галилее, но, прежде чем отправиться в заморские края, она завещала соотечественникам свой камень, через который читала молитвы...

Выслушав эту притчу, Аркадий спросил девушку о храме, где на стене висит деревянный ключ, и она ответила, что знает такой храм и что корабль плывет как раз по направлению к нему.

Когда они высадились, спутница Аркадия показала ему скалу, под которой можно заснуть во сне.

– Заснуть во сне, – сказала она, – это значит проснуться в другой жизни.

Затем они напились из источника кипящей воды – воды познания, увидели врата, пройдя через которые человек спустя сорок дней умирает, а также медное гумно, на котором молотили зерно десять лошадей. Он простился со своей спутницей под скалой, вот уже тысячу лет висящей в воздухе над водой. Ибо царь Соломон повелел злым духам её

держат ещё одна такая же скала на берегу источала воду и будет вечно источать. Даже если её перенести в другое место.

Однако по данному ему описанию Аркадий не нашёл храма, который искал. Прохожие объяснили, что храм находится под землей. Сойдя в него, он тут же увидел висящий на стене храма деревянный ключ. Ключ был гораздо больше того, который Аркадий продал перед уходом в Виминациум. Он спрашивал ещё встречных по дороге, а потом служительниц храма, нет ли среди них девушки по имени Микаина. Они отвечали, что её здесь нет и что он напрасно ищет девушку, если она дала священный обет. А ещё сказали, что дадут ему поесть.

Усталый и отчаявшийся, он принес в храм жертвы огню вместе с другими путниками, уселся за деревянный стол и стал ждать обеда. Сначала вынесли тетрапод с горящим фитильком. Потом – мисочку пшеницы, в которую воткнули семь палочек, обернутых шерстью. И наконец, внесли сосуд и налили в него подливу из вина с укропом и икрой. Он сразу узнал её по запаху.

Поистине всякое может случиться, пока несешь кусок ко рту, осенило его. Ведь это было блюдо, которое умела готовить Микаина.

Как безумный он бросился обратно к служительнице храма, которая раньше сказала, будто Микаины нет в храме, и стал умолять допустить его к той, кого искал. Поняв, что его мольбы напрасны, он стал кричать, призывая Микаину, петь песню о рыбе и наконец, истощив свои силы, упал на землю в тени дерева, не выпуская из рук сосуда с подливой.

Посетители храма смотрели на него с удивлением. Он заметил среди них мужчину и девочку, похожую на Микаину. Ему вдруг подумалось, что и они, возможно, пришли повидать Микаину.

«А что если это муж Микаины и её дочка?» – спрашивал он себя. Девочка смотрела на него, и её улыбка казалась гораздо старше её самой. Аркадий хотел обратиться к ним, но в это мгновение незнакомец воскликнул: «Смотри-ка!» – нагнулся и достал из песка у ног Аркадия перстень с большим зеленым камнем.

– Этот добрый человек и я вместе нашли перстень! – пояснил незнакомец, обращаясь к девочке, а затем, обернувшись к Аркадию, добавил: – Давай поделим находку. Ты возьми себе перстень, ибо я нашёл его у твоих ног, а мне дай серебряную монету.

Аркадий смутился. Зная толк в металлических изделиях, он сразу определил, что перстень – не имеющая ценности подделка, которую незнакомец носит, зажав в горсти, а затем якобы находит в песке и выманивает деньги у легковых людей. Это его огорчило: ведь от такого проходимца, даже если он и вправду муж Микаины, ничего достоверного не узнаешь.

Тут рядом оказалась служительница храма, с которой он уже дважды разговаривал. На голове у неё была шляпа из рыбьей чешуи. Она сказала ему:

счастлива, ибо стала его невестой, – и указала на деревянный ключ, висевший в подземном храме. – Его знак – Рыба, и потому теперь Микаина носит на голове шляпу из рыбьей чешуи, как и все мы. Она никогда больше не будет Микаиной и не может быть твоей невестой. Теперь её жених – Бог, он и царь, и ключ к будущему... Я не знаю, где сейчас твоя Микаина, – добавила она, – но наверняка она слышит не то, что ты слышишь... И видит гораздо скорее, как всякая женщина, скорее вас, мужчин. Она видит будущее. И потому думай о своей Микаине как о смоковнице из притчи – когда её ветви покроются листвой. Знай, что впереди лето.

– А я? Что же будет со мной?

– Покройся и ты шляпой из рыбьей чешуи и посвяти себя богу Микаины.

– Но я ищу Микаину, а не бога! Что такое бог?

– Бог – это любовь!

– С каких это пор Венера стала мужчиной? – бросил ей сердито Аркадий и отправился на поиски корабля, чтобы вернуться домой.

На корабле оказался тот самый мужчина с девочкой, которого он заметил у храма. Аркадий придумал, как узнать от них вести о Микаине, ни о чем не спрашивая. Он погладил девочку по голове и хотел незаметно принюхаться к её ладони – не почувствуются ли в её запахе пот и душистое масло Микаины. Тут его подстерегала полная неожиданность: девочка нащупала под плащом его оружие и ловко выпрямила.

– А теперь, – шепнула она, – иди к моему отцу, только потом не забудь про меня, а то все хотят с ним, а про меня забывают...

В эту минуту Аркадий ощутил на плече железную лапу незнакомца, который спрашивал, зачем он пристаёт к его дочери. Совершенно растерявшийся Аркадий все же пролепетал в ответ:

– Добрый человек, не знал ли ты Микаину? Тот усмехнулся, растянув рот до ушей, и сказал:

– Может, и знал, но кому это известно? Будь со мной поласковее и как следует меня выдои. Может, и скажу!

И его рука тоже потянулась под плащ Аркадия. Шаря там, он бормотал:

– У меня две ноги, и обе левые... Я укрощаю пространство, как укрощают диких коней...

И пока незнакомец хрюкал от удовольствия, лёжа под ним, Аркадий пытался учуять в его волосах и одежде запах Микаины. Он твердо решил вернуться на Понт или куда угодно, если появится хотя бы намек на то, что он сможет встретиться с ней. Но все было напрасно. На незнакомце не оказалось никаких следов Микаины. И пахло от него кем угодно, только не Микаиной. Аркадий не нашёл то, чего искал, в то время как незнакомец

требовал продолжить начатое. После того как Аркадий его оттолкнул, он укоряюще заныл:

– Неужели ты меня не узнал? Я же и есть Микаина! Моему мужу Ибику, отцу той девочки, варвары отрубили голову. Я тогда сошла в подземное царство здесь, у устья Истра, – смотри, наш корабль, как раз проплывает мимо этого места. Я стала просить у бога Ада голову своего мужа... И он мне её дал. Вместо моей. Я вернулась на этот свет к своей дочке с головой моего любимого на плечах. Это у меня на плечах голова Ибика. А моя голова, Микаинина, осталась в подземном царстве...

Незнакомец опять пытался его надуть.

Была глубокая ночь, с берега доносился глухой лай, – собаки лаяли во сне, не разжимая зубов. Аркадий был погружен в свою боль, как в корабль, а в корабль – как в проказу. Он подумал о том, что души людей, как и блюда на столе, бывают разные – холодные и горячие, одни – с перцем, да ещё и жидкие, как фасолевая похлёбка, другие – как зайчатина с капустой, а третьи – как капли мёда... Его собственная душа в эту минуту казалась ему больше всего похожей на помой. И вот в эту самую минуту Микаина приснилась ему, обняла, сделала снова мужчиной и отняла у него немного мужского семени.

«Кто знает, – подумал он с облегчением поутру, – а вдруг она сейчас где-то далеко отсюда из этого семени делает наших детей».

IX

Вернувшись домой, в Виминациум, Аркадий нашёл монетный двор закрытым. Монетный двор перестал работать. Его закрыл римский император Галлиен на втором году своего правления. Поскольку и через год монетный двор по-прежнему был закрыт, Аркадий со своей семьёй переселился в Стоби, где чеканили свою монету. Теперь он работал с клещами. Нижняя часть клещей имела отпечаток лицевой стороны монеты, а верхняя часть – оборотной. Заранее заготовив и промерив медные пластинки, Аркадий разогревал их, пока они не становились ковкими. Тогда он закладывал пластину в клещи, закрывал их и ударял по ним. Так получалась медная денежка.

Казалось, что он доволен жизнью. Но жена его замечала, что иногда во сне её муж становится на мгновение совершенно седым, а через одну-две минуты волосы его снова приобретают свой обычный цвет. Это были краткие приливы старости, преходящих ночных страхов, которым не удавалось пробиться на поверхность.

Однажды ночью он проснулся в ужасе. На этот раз Микаина явилась к нему во сне, чтобы спросить:

– А сколько нам с тобой вместе лет?

Он подсчитал, что им вдвоем ровно сто лет, но его испугало не это. Он вдруг осознал, что давно уже живёт не в Виминациуме, а в Стоби и что если сейчас Микаина вдруг захочет его найти, то не сможет. Она ведь теперь не знает, где он.

И Аркадий решил немедленно что-то предпринять. Он попросился изготавливать формы для чеканки монет.

Перед собой он положил глиняный черепок, на котором когда-то шилом и углём изобразил Микаину, и начал переносить свой рисунок на образцы. С изготовленными в Стоби медными денежками стало расходиться по всей империи лицо Микаины на женских фигурках, олицетворяющих Согласие (Concordia), Счастье (Fortuna) или Изобилие (Abundantia).

Прослышав, что в Виминациуме снова открылся монетный двор, Аркадий вместе с семьей вернулся туда. Ему сразу же поручили изготовить сестерций с изображением супруги императора Траяна. Herenia Etruscilla обрела черты Микаины и её причёску.

По краю монеты, как было принято, Аркадий обозначал место, где она изготовлена. Таким образом, Микаина, узнав свое лицо на монете, могла понять, что её отчеканил Аркадий, а если бы она вдруг надумала к нему вернуться, то всегда было ясно, где его можно найти.

Но его послания, казалось, не достигали цели. Монетки с изображениями Микаины расходились сначала из Стоби, а потом из Виминациума по всей империи, но все было напрасно. Проходили годы и годы, а о Микаине не было ни слуху ни духу.

Аркадий давно уже выглядел на десять лет старше, чем был, однако с тех пор больше не менялся, он словно стоял в будущем, ожидая самого себя и годы, которые должны были его нагнать. Он носил на шее связку злого красного перца для специально придуманного упражнения. Он пытался убить на корню любую свою мысль, едва она появлялась. Одной только что родившейся мыслью он убивал другую, которая была чуть постарше, точно камни разбивал друг о друга. Постепенно он остался безоружным перед своими органами чувств. И теперь запахи, образы, звуки и прикосновения убивали его мысли.

– Мысли – всего лишь приправа к душе, – заключил он и снова, как в молодости, начал читать все надписи подряд. Будто что-то искал. И нашёл. В одной купальне он прочел следующие слова, выложенные мозаикой: «Sic ego non sine te, nec tecum vivere possum».

Он понял их только к вечеру, когда перевел на греческий: «Так я не в силах жить ни без тебя, ни с тобой». Он был потрясен. Слова с мозаики были обращены прямо к нему и говорили о его судьбе.

И тут с Аркадием приключилось нечто, чего он сам видеть не мог. Над его левым плечом появилась маленькая красная бабочка. Она не хотела с ним расставаться. Бабочка следовала за ним, как собака, но Аркадий не замечал ее: ведь именно он не мог видеть бабочку. Зато бабочку заметила его дочь Флацилла.

Вскоре после этого к ним зашёл какой-то человек и передал Аркадию клубок красной шерсти. Дело было весной, ночью, и слышно было, как где-то неподалеку рабыня обучает

говорящую птицу. Птица оказалась не очень одаренной и заданные ей слова повторяла с трудом, то и дело ошибаясь.

– Вот клубок шерсти, его посылает тебе Микаина, – сказал пришелец, – это единственное, что от неё осталось. Десять дней тому назад она умерла.

– Где? – спросил Аркадий. Но ответа не получил.

Посланец и сам ничего не знал. Он только выполнял поручение своего приятеля, который попросил об этой услуге, узнав, что он направляется в Виминациум...

Х

Таким образом, поиски Аркадия прекратились сами собой. Он отправился на берег Данувиоса, в корчму, где когда-то встретил Микаину после приключения на пароме. Он смотрел и смотрел на выставленные там деревянные изображения уток, кур и зайцев, разглядывал деревянные яйца, деревянных куропадок и поросят, расставленных там, чтобы показать, чем можно закусить, и не мог утешиться. Тоска преследовала его долго и упорно, как болезнь, и Аркадий забросил дела на монетном дворе.

– *Cras, eras, semper eras!* – шептал он про себя.

Вернувшись вместе с семьей в Медиану, он ощутил, что душа его утратила весомость, что она не может ни упасть выпущенным из руки камнем, ни взлететь взметнувшимся в небо копьем. Он не знал, что с ней делать. Иногда он уходил к реке, что течет близ города Наисуса, и ждал, когда в четвертом часу пополудни ветер на мгновение остановит воду. Здесь он грустил, пока не начинала болеть голова незадолго до того, как от заводов и болот распространялся запах умерших трав. Он взял одну монетку с изображением Микаины и переломил её надвое, чтобы Микаина могла ею воспользоваться на том свете, ибо то, что на этом свете сломано, на том свете станет целым. Таким образом, Микаина и после смерти могла знать, что Аркадий её по-прежнему ждет.

Изгрызенный и почти разбитый отчаянием, однажды вечером он почувствовал, что наступает «его ночь», как сказала бы Микаина. Ночь его очищения. Он сразу понял, как использует эту ночь. Была осень. Он смотрел, как падают перед ним листья, и слушал, как те самые листья, падая, шуршат у него за спиной. Он снова был на перекрестке дорог и снова молился Гекате, богине Луны.

– Пустых садов я боюсь, потерянных в сердце моем, не зная путей, что могут к ним привести. Не я выбираю птиц, что туда слетятся, и память моя всё старше, всё дальше в прошлом томится она, и власти нет у меня, чтоб её удержать...

Тогда ему открылось, что в человеке скорее всего стареет пот, а медленнее всего стареет душа. Его душа была по крайней мере на десять лет моложе его тела. Ему исполнилось пятьдесят, а душе по-прежнему было около сорока лет. Для неё всё ещё были живы те, кто для него давно умер. Да ведь его душа всё ещё «не знает», что Микаины больше нет! И тут Аркадий вдруг начал относиться к Микаине так, словно она была жива. Он её всеми

силами возненавидел. За свою несчастную жизнь, за то, что он бросил работу, за свой разоренный очаг. Благодаря этой ненависти однажды утром он вдруг очнулся от своей тоски, как от болезни, воспрянул, как от зимнего сна. Окрепший, почти веселый, он вдруг заметил окружающих, обратил внимание на жену, которую он нашёл пережившей почти до неузнаваемости, и бросился взглянуть на дочь.

Войдя в её светелку, он окаменел. Вся комната была заполнена волосами цвета воронова крыла. Под шатром этих волос он увидел коленопреклоненную женскую фигурку, державшую перед собой сложенные раковиной ладони. На голове у неё была шляпа из рыбьей чешуи, а на стене перед ней висел деревянный ключ. Аркадий ахнул, раздвинул волосы и увидел под ними свою дочь Флациллу.

– В сложенных ладонях – забытые нами слова, – сказала она с улыбкой. Не отрываясь смотрела она на бабочку, трепетавшую над плечом Аркадия подобно лучику света.

Отец разомкнул сложенные ладони дочери. В них лежал клубочек красной шерсти. Под его взглядом Флацилла стала потихоньку разматывать клубок и наконец, когда вся шерсть была размотана, показала Аркадию семь денежек, которые Микаина спрятала в свой клубок. Тех самых денежек, изготавливая которые он чеканил лик своей возлюбленной на монете Римской империи.

Всего было шесть медных монет и одна серебряная. С оттисками названий городов, где они были изготовлены.

• • •

– Берегись Анджелара, его имя лжёт! – повторяли мне коллеги по университету.

– Коза, может, и лжет, да рог не лжёт, – отвечали студентки. Это происходило в то время, когда быстро растут ногти. Мои вечно были обгрызены, а про Анджелара говорили, что ему ногти обгрызают женщины. Тогда, пока мы ещё встречали друг друга в здании капитана Миши, в курчавых волосах Анджелара было полно перьев, стружек от зачинки карандашей и трамвайных билетов, которыми посыпали его проходящие мимо девушки. Ел он всегда (даже в ресторане «Три шляпы») собственной вилкой, которую носил в кармане и которой пользовался ещё и для расчесывания бороды. Основное впечатление, которое он производил, было смешанным – он казался удивительно привлекательным и одновременно будил в нас страх. На втором курсе нас возили в Дубровник познакомиться со старинным архивом. Воспользовавшись случаем, мы наняли рыбацью шхуну и отправились на один день в Цавтат, но тут на море началось волнение. Почти всех на борту рвало, а Анджелар вдруг начал насвистывать какую-то мелодию, его свист всех постепенно успокоил, и наши мучения прекратились. От Анджелара мы узнали, что такое «пьяный хлеб» и как его едят. Если нужно быстро забыться или загладить какое-то душевное потрясение, есть способ в мгновение ока напиться до полного бесчувствия.

– Достаточно, – объяснял нам Анджелар, – намочить два-три куска хлеба в стакане ракии и проглотить их. Пьянеешь тут же, да так, что выпадаешь из реальности, но опьянение проходит гораздо быстрее, чем обычно, и вызывает нечто похожее на кратковременную потерю сознания.

Анджелар приходил на занятия без ремня. Нижнюю пуговицу рубашки он обычно пристегивал к верхней петле на ширинке своих широченных штанов, так что получалось, что он носил брюки на шее. Его часто можно было встретить в обществе двух друзей, которые были старше его и которые обращались к нему «сынком». Одного звали Максим, и был он из Сремска-Митровицы, а второго, белградца, звали Василие Уршич. Василие и Максим жили в районе Дорчол, в квартире Уршича, на втором этаже дома на углу улиц Добрачине и Господар Йованове, откуда зимой можно было очень быстро добраться до факультета, если воспользоваться раскатанными ледяными дорожками, которые в это время года пересекали улицу Братьев Юговичей, а потом Симину, Евремову, Йованову и, наконец, Страхиича Бана. В эту их комнату, три окна которой выходили на одну улицу и три на другую, а на самом углу был немного приподнятый балкон, нас по случаю встречи Нового, 1972 года и пригласили на ужин. А точнее, на «фасоль с мясом без мяса». Это означало, что фасоли был второй день и в первый день всё мясо из неё было съедено. Всех заранее предупредили, что компания будет смешанной, но точно мы не знали, кого там найдем и кто с кем оттуда уйдет.

Придя на место, мы обнаружили, что комната имеет форму буквы «Г». На застекленном балконе, пол которого был на одну ступеньку выше комнаты (и откуда в дождь можно

было услышать Дунай), стояла плита, и возле неё маялся Максим. В одной части комнаты виднелся накрытый стол со свечами, вставленными в две старые курительные трубки. Ввиду того что в туалет не было подведено электричество, каждому, кто хотел удалиться, приходилось брать в зубы трубку, зажигать свечу и только после этого отправляться по делу. В другой части комнаты стояла старинная трёхспальная кровать со встроенными в спинку часами, из которых давно уже вытекло всё время. Кровать была металлической, на шести металлических же ножках, с маленькими латунными шариками на спинках, размером не меньше двух с половиной метров на три.

– Когда человек ложится в неё, – шепнула мне одна из девушек, проходя мимо, – это всё равно как если дьявол плюет в Дунай.

Рассказывали, что Анджелар (у которого не было постоянного места пребывания) иногда спал в этой кровати с двумя подругами. Правда, он сам с усмешкой сказал, что в действительности такое было лишь однажды (в отсутствие хозяина), причем с девушками он заключил пари, что ни одну из них не тронет. Пари он выиграл, девушки его проиграли.

– Кровать для Жаклин Кеннеди, – в шутку заметил кто-то из гостей, на что Анджелар запротестовал и добавил, что насчет Жаклин Онассис стоило бы хорошенько поразмыслить.

– Неужели вы не согласитесь, – обратился он к присутствующим, – что у Православной церкви есть все основания объявить единственной восточно-христианской святой двадцатого века именно Жаклин Онассис. Всё очень просто. Разве Елена, жена римского императора Константина, не перешла в христианство после смерти мужа и не стала тем самым святой? Почему бы жене самого известного президента-католика, возглавлявшего ведущую западную империю двадцатого столетия, не быть подобным же образом воспринятой своей новой Церковью, после того как она отказалась от римской веры своего мужа и перешла в православие, обвенчавшись с Онассисом по восточному обряду? Разве не сделала она столь же вызывающий для своего прежнего окружения шаг, как в свое время и Елена? Задумайтесь над этим...

– Вы только посмотрите на него! Хочет перепрыгнуть через собственную тень! – выкрикнул изумленный Василие, но в этот момент разговор прервался. Лиза Флашар, одна из тех девушек, которые в тот вечер особенно бросались в глаза и на которую, видимо, в данный момент (а может быть, и на более длительную перспективу) рассчитывал хозяин квартиры или его приятель Максим, совершенно неожиданно и несколько преждевременно выложила все карты на стол, видимо опасаясь, как бы её кто-то не опередил. ещё во время разговора она весело и непринужденно запускала пальцы в карманы присутствующих и уже точно знала, где бы смогла найти, если ей потребуется, чистый носовой платок, зажигалку или те сигареты, которые она любит. Теперь она вдруг вытащила из кармана Анджелара его вилку и, воскликнув: «Пора начинать ужин!» – вонзила её Анджелару в плечо. И позже, когда фасоль, заправленная ложкой мёда, была подана гостям, можно было под столом увидеть, как, разув одну ступню, она тайком от нас пытается пальцами ноги расстегнуть ту пуговицу, на которой держались брюки

Анджелара. Он сначала ел спокойно, но потом вдруг отодвинул тарелку и, повернувшись к Лизе, выкрикнул:

– Слушай, что тебе все-таки от меня надо?

Мы все на мгновение замерли, а Лиза хладнокровно ответила:

– Ты сам прекрасно знаешь, чего я хочу.

На что взбешенный Анджелар швырнул салфетку в тарелку и прошипел:

– Ладно, тогда раздевайся!

– Прямо сейчас? – быстро спросила Лиза.

– Прямо сейчас, – ответил Анджелар.

Лиза посмотрела на него долгим взглядом, словно высасывая из него всю пищу, которую он только что съел, вышла из-за стола, подошла к постели и начала на глазах у всех раздеваться, продолжая при этом не отрываясь смотреть на него. Она стояла в углу комнаты словно дерево, которое постепенно наполняет листьями свою тень, а Анджелар выглядел как заяц, который, попав в полосу света от двух фар, не может из неё выбраться. Максим, который хотел, как было очевидно, смягчить возникшую за столом напряженность, подошёл к плите, стоявшей на балконе, как в витрине, и открыл простоквашу. Лиза уже снимала чулки, и оказалось, что они разного цвета. Анджелар немо сидел за столом, спиной к кровати, рядом с Василием, а Максим тем временем крошил в молоко огурец и одновременно раскалял на огне нож. Потом он очистил зубчик чеснока. Одета в наши взгляды, Лиза снимала лифчик, застежка у него была спереди. На одной из половинок лифчика было написано «Да», а на другой «вай». В первый момент показалось, что каждая из Лизиних грудей имеет имя – одна мужское, другая женское, однако, пока она не расстегнула лифчик, было понятно, что читать надо:

Давай!

А чуть позже читать было уже нечего. Лиза сбросила сначала одну чашечку, потом другую, и мы увидели, какого цвета у неё соски. Анджелар по-прежнему не смотрел на неё, к еде никто не прикасался, а Максим в окне начал раскалённым ножом резать чеснок, и его запах наполнил комнату, смешавшись с запахом Лизиной кожи и волос. Потом Максим добавил в простоквашу с огурцом редьку и оливковое масло. Пока он заправлял салат укропом и брусникой, Лиза освободилась от последней одежды. Максим подошёл к столу и поставил миску перед Василием и Анджеларом, а Лиза устроилась в кровати, стянув с неё покрывало. Из-под одеяла выглядывала только одна её голая ступня. Кровать скрипнула под ней как раз в тот момент, когда Анджелар вилок потянулся к салату. Он замер на полпути, почувствовав на себе наши взгляды. В тот момент мне стало ясно, что все, кто был в комнате, выбирали между двумя «нет». Потом он положил вилку, встал и подошёл к кровати. Он не стал раздеваться, а лишь снял с руки кольцо и надел его на



безымянный палец Лизиной ноги. Потом расстегнул ту самую пуговицу, которая держала вместе рубашку и брюки, и нырнул в кровать. Раздался крик. И было понятно, что вскрикнула не одна только Лиза. Вскрикнули все женщины, находившиеся в комнате. Анджелар и Лиза лежали под одеялом, она своими рыжими волосами вытирала его испачканный едой рот, а Максим в другом конце комнаты, словно ничего не происходило, снова подошёл к стоявшей и окне плите. Он прибавил огня, обильно посолил раскалённую поверхность плиты, приготовил несколько небольших острых перчиков и длинный нож, и тут из комнаты слышались звуки, напоминающие жевание. За столом, однако, в этот момент никто не ел, просто Лиза в поцелуе жевала язык Анджелара. Максим разбил и вылил прямо на поверхность плиты несколько яиц, которые тут же схватились, а потом в каждый желток воткнул по стручку перца, стараясь загнать его до дна и добиться, чтобы он затрещал на жару. Таким образом, соприкоснувшись с раскалённой плитой, перец выпустил в желтки свой острый сок. За нашими спинами Анджелар и Лиза старались дышать в одном ритме, а перед нами сидел Василие и, беря одну за другой фасолины, давил их языком, но не глотал, а оставлял во рту. Максим длинным ножом снял яйца с плиты на тарелку и поставил её на стол. Потом Лизу стало слышно лучше, чем Анджелара, и нам на миг показалось, что она поет. Но тут же мы поняли, что это было не пение, просто её голос, как река в скалистом русле, следовал за тем, что происходило под ним, глубоко внизу, на дне воды. Река пела на два голоса. Один был непрерывным, светлым и журчащим, второй – глубоким, угрожающим, переменчивым. Светлый голос принадлежал водоворотам, руслу, пене и краскам, которые река не может смыть и унести с собой, они остаются в ней всегда, на том же месте, того же облика. Второй голос, глубокий, принадлежал той воде, которая протекает под водоворотами, которая постоянно изменяется; она несет птиц, задушенных ветром, и стволы деревьев, которые тупо ударяются об отмели или, словно рыбы, выскакивают из реки. В этих голосах можно услышать даже мох с берегов и ивы, которые добрались до воды.

У нас, сидевших за столом, больше не было сил выносить происходящее. Максим наконец покинул свою стеклянную витрину, быстро приблизился к столу, отломил кусок ковриги, намочил его в стакане с ракией и жадно проглотил этот «пьяный хлеб». После этого всё быстро закончилось. И за столом, и в постели. Мы медленно одевались и расходились. Оказалось, что нас семеро и что я останусь без пары. «Это неплохо, – пришло мне в голову. – Так я смогу дожидаться момента, когда Анджелар и Лиза расстанутся, и попробовать этим воспользоваться». Впрочем, именно так думали и остальные, все, кто в тот вечер 1972 года ужинал на углу Добрачине и Господар Йованове улицы. И долго ещё казалось, что женщины, оказавшиеся тогда за столом, никогда не смогут простить Анджелару того, что Лиза в ту ночь сделала с ним и со всеми ними.

Но, во всяком случае, тогда мы увидели, как едят «пьяный хлеб».

мы с Анджеларом и Лизой гуляли по улице, где она снимала комнату с двумя другими студентками. Эта улица текла параллельно Дунаю, только по другую сторону Нового кладбища. У неё было три имени, и, заканчиваясь, она уходила в сторону крутым коленом, которое защищало её от ветров с низовьев Дуная. В самом начале она называлась улицей Войводы Браны, затем (хотя на этом стыке она даже не поворачивала) Войводы Саватия и, наконец, дальше – Хаджи-Мустафы. Она была из тех улиц, где по ночам слышно, как соседи, лёжа в постели, шлепают комаров. На этой улице мы писали на тротуарах похабные стишки, сидели парами по ночам на каком-нибудь из углов на корточках и курили, искали самый маленький дом в Белграде, который, как утверждал Анджелар, находился именно здесь и в котором если открыть дверь, то она заслонит окно. Мы не читали ничего, кроме текстов на конвертах с пластинками. Анджелар и Лиза иногда перед самой зарей водили нас в пустые маленькие парки с качелями, спрятавшимися под деревьями, и показывали, как на таких качелях можно необычным образом заниматься любовью. Анджелар, стоя, держал в объятиях сидящую на качелях Лизу и то притягивал её к себе, то отталкивал. ещё мы, бывало, ходили на Новое кладбище учить что-нибудь, сидя там на скамейках, и целовались с песком на губах, думая о смерти. А иногда, совсем редко, кто-нибудь из нас подходил к Анджелару и Лизе и украдкой задавал вопрос:

– Ты всё ещё носишь эту вещь?

– Какую вещь?

– Сама знаешь какую. Кольцо Анджелара на ноге.

– Я его не снимаю, – отвечала обычно Лиза, и разговор на этом заканчивался.

И только в разгар зимы мы снова зашли к Уршичу на новогоднюю вечеринку. Было много смеха, значение которого сначала оставалось мне неясным, а потом одна из сокурсниц (она ещё с того самого ужина на Дорчоле постоянно была с Василием) открыла мне тайну. Все девушки сидели отдельно, на трёхспальной кровати, и тайно от мужчин что-то вязали. Спицы и вязание они незаметно принесли с собой, и то, что находилось в их руках, выглядело невероятно. Зима 1972 года началась внезапно и с сильными морозами, поэтому девушки (по совету бабки одной из них) решили связать парням защитные чехлы, которые надевают на мужской член тела в тех случаях, когда зимними ветренными ночами приходится долго оставаться на улице. Они вязали их из собственных волос, которые собрали в течение года, сделали из них пряжу и смотали её в клубки. Таким образом, эти аксессуары получались разными не только по размеру, но и по цвету. В зависимости от волос вязавшей его девушки здесь попадались изделия и цвета воронова крыла, и светлые льняные, и рыжие, как, например, тот, над которым для Анджелара трудилась Лиза и которая, как это сразу бросалось в глаза, для такого дела существенно укоротила свои волосы. Девушки украдкой подсматривали, чем заняты их соседки, делая вид, что разглядывают ярко светящуюся от отблесков снега балку на потолке и прикидывают, какую окончательную форму (в соответствии с образцом, который хранился в их памяти) должно принять их рукоделие. Когда одна из них глянула на Лизино вязание и увидела то, что её интересовало, она от зависти потихоньку оборвала под кроватью нитку, без которой нельзя было продолжить вязание теплого чехла для

члена Анджелара. За тем, что было дальше, уследить оказалось невозможно, потому что грянул новый, 1974 год и все мы повскакали с мест, чтобы поздравить друг друга. В темноте прошлого года осталась лишь порванная и не впряденная в наступивший год пряжа из клубка Анджелара.

3

Мы заснули под утро, а ранним вечером меня разбудил запах жареных колбасок и полупьяные голоса, которые становились всё громче.

– Я создан калекой, а вы требуете, чтобы я был немым! – кричал Анджелар Максиму и Василию, видимо и в новом году продолжая какой-то их старый, но неизвестный мне спор. Ни Лизы, ни других девушек нигде не было, Максим в застекленной нише балкона жарил колбаски, и было видно, что он чрезвычайно взволнован, потому что огонь был таким сильным, что колбаски то и дело выпрыгивали из сковороды и стукались о стекла. За столом сидели Василие и Анджелар, и Василие тихо, еле слышно говорил:

– Неужели ты не видишь, что даже лицо на тебе не твое? Посмотри на любую фреску или картину, ты его тут же найдешь. Тебе его дали только временно, на хранение, ненадолго поносить, как чужую шляпу, а потом оно отправится дальше. Точно так же обстоит дело и с твоим голосом и свистом. Оглянись, в конце концов, на свою тень, ту, что на стене, ту, что росла и жирела вместе с тобой. Придет день, когда ты уляжешься в неё последний раз, и она тебя переживёт. И не безразлично, с какого огня ты кормишь эту тень. Тебе следует выбирать для неё пастбище. Подумай об этом, потому что я уже много раз советовал тебе – не надо доверять каждому огню. Я-то знаю, сын ещё никогда не помогал отцу, но ты постоянно оказываешься третьим лишним. Пришло время убрать на место вывернутые карманы...

Потом он схватил со стола и протянул Анджелару его вилку.

– На, расчеши бороду, – сказал он вполголоса, но Анджелар отказался. Так что в этой непонятной мне полемике в качестве своеобразного аргумента на стол была выложена вилка Анджелара.

– И твоя вилка, – продолжал, по-прежнему вполголоса, Василие, – первоначально не была четырехзубой, как сегодня. Первоначально она, так же как и все вещи и существа, имела только два отростка. Надеюсь, это ты признаешь? И лишь позже, в результате соединения двух таких двузубых вилок, возникла вот такая, четырёхзубая. Каждый из её зубов имеет особое значение. Видишь, вот этот первый зубец, назовем его угловой, – это тот, который создает, но не создан, то есть он представляет собой нечто вроде принципа или символа праотца. Второй зубец принадлежит тому, который создает, но который при этом создан и сам. Это Слово. Третий зубец создан, но сам ничего не создает, как, например, ты, сынок. Четвертый зубец, тоже угловой, принадлежит тому, кто не создан (как и первый) и сам тоже не создает. Он словно первый зубец в состоянии отдыха, так же



как тот, кто в зависимости от желания может создавать, а может и не создавать. Он опять-таки принадлежит отцу как конец пути, который смыкается со своим началом.

Такое соединение двузубой и четырёхзубой вилок, не можешь не согласиться, в разных цифровых системах современного мира выражается по-разному. Говоря кратко, два и два на Востоке дадут совсем не тот же результат, что в Европе. Разница, возможно, вытекает из того обстоятельства, что к понятию «два» в Китае пришли не тем же путем и не в то же время, когда в языках Европы формировалось двойственное число (как, например, в нашем), а в математике – понятие двоичности. Число два, самое важное из чисел, сводится, впрочем, к единичности, потому что оно просто отражает парную природу нашего глаза, так же как двузубая вилка двузуба только будучи вонзенной в мясо, в то время как в руке, которая её держит, она однозуба. Из единичности проистекает множественность. Ибо, будучи не в состоянии воспринять могучее содержание, которое передается ему Единичностью, дух (так же, как и наша пищеварительная система) измельчает его, крошит, пережевывает и превращает единичность во множественность для того, чтобы суметь принять её и унести с собой кусок за куском.

– Вы просто хотите от меня избавиться! – воскликнул вдруг Анджелар, перебив Василия с таким волнением, которое никак не соответствовало ни смыслу, ни спокойному тону только что произнесенных слов. Было очень странно слышать его испуганный голос и видеть, как он беспокойно повернулся к Максиму, который продолжал жарить колбаски в белом вине.

– Ты знаешь, – спокойно продолжал Василий, – что мы тебя буквально из ничего подняли. Каждый носит собственную смерть во рту и может выплюнуть её, когда захочет, однако то, за счет чего живем мы все, в том числе и ты, нельзя ставить под вопрос. И именно в этом всё дело.

– Но ваша кровать предназначена для троих, – нервозно заговорил Анджелар. – Разве в ней не найдется места и для моего слова?

Он дрожал так, что его пальцы выбивали по столу дробь, и поминутно оглядывался то на меня, то на Максима, который у себя в окне брякал тарелками. Было очевидно, что с самого начала Анджелар почувствовал в этом разговоре какой-то особый, скрытый и опасный, для себя смысл, который мне стал ясен отнюдь не сразу.

– Сейчас всё прояснится, – продолжал тем временем Василий. – Греческая, а позже и византийская системы, которые для обозначения чисел использовали буквы и которые целое тысячелетие применялись славянами, самым непосредственным образом включают в череду математических расколов и нас. Поэтому нам необходимо переливание памяти. Упомянутая система идеальна, ибо в силу использования не чисел, а букв лишь она дает два верных результата. Если произвести простейшее арифметическое действие, вычитание, с помощью арабских цифр: $441 - 20 = 421$, то получится только один результат. То же самое действие, представленное греческими (или славянскими) буквами, обозначающими эти числа, всегда даст два решения. Первое совпадает с арабским:

О.У.М.А. (441) – К. (20) = Д. В. Д. (421)

Цифровое значение выражения Д. В. А. действительно дает (как и в случае с арабскими цифрами) число 421, но если этот результат прочесть не как цифровой знак, а как знак словесный, он выразится словом два. А это слово связано с первым результатом таким образом, что каждая из цифр результата ровно по столько раз (по два) содержится в каждой предыдущей цифре: единица в двойке два раза, двойка в четверке тоже два раза. Таким образом, ввиду того что все числа в этой части мира имеют свои буквенные обозначения, все, что следует из них, тоже имеет свои соответствующие семантические результаты. И наоборот, любое слово нашего сегодняшнего разговора имеет свое численное значение. Например, слово, которое было написано на Лизинном лифчике в тот вечер, год назад, по-сербски пишется «АБДЕ!», если я не ошибаюсь. Так вот, в цифровом выражении оно может быть представлено как 1145, а это, несомненно, объем её груди в миллиметрах, что тебе, Анджелар, должно быть известно лучше, чем нам. ещё придет тот день, когда мы, забывшие двойственное число и уже несколько столетий пользующиеся в своем языке только единственным и множественным, почувствуем во рту его вкус и подавимся им.

– Но какая связь между всей этой вашей математикой и мною? – Анджелар снова перебил Василия.

– Ты скоро увидишь, что связь есть, да ещё какая. Правда, не с тобой, а с твоей вилкой. Ты её не приручил, и теперь смотри не сломай об неё зуб.

Итак, здесь, в пространстве между двумя правильными (и при этом отличающимися друг от друга) решениями одной и той же арифметической задачи, обнаруживаются огромные ненаселенные области, неиспользованные возможности и неисчерпаемые источники энергии. Тот дополнительный, второй, надцифровой и корректирующий, результат, который мы перестали принимать во внимание (таким же образом, как и наш язык забыл двойственное число), выбрав нашу нынешнюю систему цифровых обозначений, и представляет собой то самое промежуточное пространство, в котором можно жить здесь, на Балканах, на границе между двумя системами чисел, где результаты в их греко-славянском варианте обогащены забытыми и непредсказуемыми резонансами. Короче говоря, сегодня на Востоке два плюс два – это ровно столько же, сколько будет два плюс два на Западе. Но это не одно и то же. По крайней мере в течение одного и того же дня. И как в такой ситуации не отправиться в это неизведанное, неисчерпаемое и неиспользованное промежуточное пространство, которое можно заселить и начать эксплуатировать? Аргументы таковы, что их следует принять во внимание если не как собственные, то хотя бы в качестве модуса нашего выживания, в качестве formulae, единственно с помощью которой здесь и можно выжить... Вместо этого ты ведешь себя так же, как тот человек, который бежал вслед за днем, чтобы не состариться...

– Вы тут в последнее время обличаете меня прямо как на каком-то Вселенском соборе! – воскликнул Анджелар в припадке гневного отчаяния. – По-человечески просто перестали и разговаривать. И на рынке, и на улице, и на занятиях, и на трамвайной остановке вы только и твердите о чем-то уму непостижимом. Сейчас не триста тридцать шестой, а

тысяча девятьсот семьдесят четвертый год! Спросишь вас, сколько надо заплатить за лук, вы философствуете о рожденном и не рожденном, хочешь узнать почему хлеб – вы отвечаете: «Отец дороже сына!» Спрашиваю, свободна ли ванная, Максим отвечает: «Сын произошёл не из чего!», а Василие: «Три динара стоят меньше, чем два динара!» Как будто я гвоздь у вас в тесте. Мы же в Белграде, а не в древнеримском Сингидунуме!

– Разумеется, – спокойно ответил Максим. – Но фасоль с Байлониевского рынка, которая сейчас стоит перед тобой, куплена именно таким только что описанным способом, по промежуточной цене. В сущности, по двойной цене, каждая из которых сбивает другую. – И, закончив фразу, ударил Анджелара так, что тот стукнулся головой о стенку, а потом упал лицом в тарелку на столе. Так начался ужин.

4

На балконе Максим быстро размял два варёных баклажана, залил их козьим молоком, добавил петрушку, кукурузное масло и творог и всё хорошо перемешал. Потом тихо-тихо поперчил и громко посолил, похлопав ладонями, чтобы стряхнуть соль с рук. После этого он поставил миску на стол. Когда Анджелар потянулся за своей вилкой, скорее чтобы сгладить разногласия, чем от голода, Максим сказал ему:

– Тебе давно пора стать рыжим, как Лиза, но ты сам вовремя об этом не позаботился. Придется мне это дело уладить.

Он схватил его своими сильными руками за бороду, разодрал её на две части и резко рванул вниз, подставив колено, так что Анджелар со всей силы ударился об него лицом. Потом подошёл к плите и всем нам принес в маленьких глиняных мисках фасоль с печёным перцем, в который были всунуты зажаренные колбаски. Пока он расставлял их перед нами, усы и борода Анджелара становились всё краснее и краснее от пропитывавшей их крови. Теперь он был рыжим. В тот момент, когда фасоль оказалась перед ним, Анджелар рухнул на пол. Максим поднял его и отнес на кровать, а его миску и вилку придвинул ко мне.

– Ешь, – сказал он мне мягко, увидев, что со мной происходит что-то странное и что меня трясёт от страха. Несомненно, это были последние мгновения, когда было ещё не поздно прийти на помощь Анджелару. Максим отошёл к плите и надрезал несколько небольших лепёшек, которые пеклись там, потом наложил в них, как в карманы, створочные сливки. Лепёшки были пропечены так сильно, что постукивали в его руках, словно грецкие орехи. Тем временем Анджелар предпринял попытку встать с кровати, однако Максим тут же подошёл к нему и, сняв с себя пояс, привязал Анджелара к изголовью кровати за шею таким же манером, как привязывают вола. За это время одна из лепёшек подгорела. Можно было закричать, но зубы у меня стучали так, словно я торопливо жую. Я надкусила Анджеларову колбаску, на зубах она лопнула, и струйки её сока попали мне в рот. В этот момент стало видно, как в комнате, в зеркале, висевшем напротив окна, идет снег. Анджелар в последний раз попытался сорваться с привязи.

Максим потерял терпение, подошёл к кровати и поставил её вертикально вместе с Анджеларом. Тот повис на ремне, завязанном на спинке кровати...

Я больше не могла этого выносить. Отломила кусок хлеба и бросила его в стакан с ракией. Хлеб мгновенно впитал всю жидкость, и я сунула его в рот и проглотила. Следующий кусок «пьяного хлеба» не потребовался. Ни мне, ни Анджелару. Теперь я могла спокойно спать с кем угодно. Единственный человек, к которому меня действительно влекло, перестал существовать.

Уршич, Максим и я наконец-то остались без третьего, того, который лишний.

• • •

ДУШИ КУПАЮТСЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Немногим известно, что кроме солнечной тени существует и тень лунная, уголок земли, где лунный свет скапливается редко, едва ли раз в год, и что одно такое место есть на улице Рузвельта, той самой, что спускается к Дунаю, проходя мимо четырех кладбищ – Нового, Еврейского, Освободителей Белграда и Французского. В этой тени, за домом номер 4, уже во второй раз пряталась Омица, которая всё это рассказала потом возчикам в корчме «Жагубица». В ней угасал двадцать седьмой день месяца, и её прошибал третий пот, сухой, как змеиная кожа, и мокрый ещё только на платье под мышками. Было 19 октября, накануне Дня поминовения мертвых, когда души купаются в последний раз.

Упомянутая улица Рузвельта, вдоль которой теснятся домишки с цветами, венками и свечками, десятилетиями пролегает между лавками похоронных принадлежностей в первых этажах домов и мастерскими при них во дворах за домами. С 1929 года хозяйка одного из таких магазинчиков, Ивана Цветич, в своем доме под номером 4 держала дело, а в будильнике – как Омица только что узнала – дукаты, скопленные годами тяжелого ремесла в домике за воротами. Ивана Цветич жила одна, как нос посреди лица; ей приходилось самой есть, самой ложку себе подавать, самой однажды уронить голову в тарелку с супом. Работала до поздней ночи она тоже одна, не считая какого-нибудь бродяги, которого она иногда брала себе в помощь, если работы накапливалось столько, что некогда было яйца посолить.

Уже второй вечер Омица, наслушавшись рассказов про Ивану Цветич, следила за старухой из своего пирога темноты и выжидала удобный момент, чтобы добраться до часов, отсчитывавших в мастерской дукаты. Она закусил воротник, чтобы не стучать зубами, соленые косы у неё чесались, потому что им шёл уже третий день, но она не шевелилась, уткнувшись подбородком в грудь. И совершенно не дыша. Здесь, где трамвайные пути из Раковицы переходили в обычную дорогу до Карабурмы и Панчевского моста почти в полной темноте, народу было столько, что можно было до самой аптеки шагать по чужим пальцам, так что Омица надеялась на мрак и давку, которые скроют её, если разразится скандал и по злой случайности на окружавшую её тьму вдруг прольется свет. Наблюдала и сама Омица, и мука, которая мучилась в ней, но эти четыре глаза глотали непрожеванным каждый шаг и каждое движение старой женщины, которая оба вечера ходила то в дом, то в погреб в длинном рабочем платье, с глазами полными первого «рыбьего» снега того года.

У старухи – Омице это было видно – уже начали прорастать волосы на подбородке, а правой рукой при ходьбе она размахивала больше, чем другой, словно та была тяжелее. На самом деле она хромала на левую ногу, и поэтому-то рука у неё таким образом стирала вокруг себя ночь. Она как раз только что вернулась из погреба, таща под мышкой два желтых круга – круг воска и круг сыра. Взбодрила огонь в железной печке, закрыла за собой дверь, не закрыв дверку за огнем, отчего Омица смогла теперь через окно осмотреть всю комнату с будильником. Видно было как в фонаре.



Старуха поставила на огонь два медных котла, взяла один из двух принесенных кругов, разломала его и бросила в один котел, потом ломти другого во второй. Когда они растаяли

и начали кипеть, запахло сразу и сыром, и воском. Тогда в один из котлов она накрошила хлеба и взяла нож. Тут голодная Омица подумала: ты посмотри на неё, да ведь у меня никаких слюней не хватит! – а старуха взяла пучок шерстяных ниток, отрезала от него небольшой снопик и начала делать петли, завязывая зубами узлы. Потом повернулась к большому деревянному колесу, ось которого подпирала потолок. По краю колеса были воткнуты крючки, на которые, постепенно поворачивая его, старуха принялась цеплять за петли нитки. Покончив с этим, она из медного котла с тюрей наложила себе в миску ужин и поставила миску на колесо.

Затем, натягивая нитку на каждой петельке, старуха каждый из этих фитилей стала заливать воском из другого котла. Когда, по мере продвижения работы, стоявшая на колесе миска оказывалась перед ней, она зачерпывала большой ложкой пищу и отправляла себе в рот, а после другой большой ложкой продолжала черпать из второй посуды воск и слой за слоем наносить его на свечи. После того как всё было сделано, она сняла уже залитые фитили, прицепила их с другого конца к тем же крючкам на колесе и стала заливать с другой стороны. Потом сняла готовые свечи, откатила их через весь стол на другой его конец и подошла к печке, чтобы посильнее распалить огонь для новой порции воска. Но оказалось, что в комнате нет дров. Старуха вышла во двор и тут же налетела на Омицу. Та, с трудом сдержав крик, едва успела отскочить и спрятаться среди кустов роз, колючих, как рыбы кости. Из мрака и забрызганной грязью снежной пены Омица увидела, что старуха забыла во дворе топор. Ночь успокоилась и устоялась, ни с одного её конца ещё не было видно седины, а снег и редкий свет на улице заставили девушку поспешить.

Она сжала в руке топориче, разулась, чтоб не зацепиться за порог, вошла и ударила старуху сзади. Как раз в этот миг та снова потянулась к миске, поэтому удар пришёлся не по затылку, а в ухо. Старуха, не издав ни звука, развернулась, прижала руку Омицы ухватом и головой ударила её в живот. Девушка, стараясь не закричать, упала, потянув её за собой. Мгновение они смотрели друг другу в глаза, а потом старуха подобралась и ловким движением стянула с неё трусы. Потом вытащила у себя из-под фартука огромный член, вдоль которого тянулась набрякшая жила, а на конце дышал большой синий гриб. Не успела Омица понять, что это вовсе не женщина, как незнакомец уже проник в неё, распластав под тяжестью своего веса и возраста, и теперь судил и славил, не издавая ни звука. Она почувствовала, как его жила бьется в ней, словно сердце, и как где-то глубоко-глубоко, там, где разделяются дни и ночи, капает в неё горячий воск.

А потом незнакомец встал, взял с огня миску с тюрей и протянул ей.

– Как тебя зовут? – спросила она, прикрывая глаза волосами.

– Иван, Петр и Дамиан. – Голос у него был скрипучим, словно доносился сквозь горсть песка.

– У тебя три имени? – спросила она смеясь. Тут ей показалось, что комната стала уже, дверь переместилась с одной стены на другую, что её со всех сторон окружает тепло, а свербящее тело расслабилось и, сытое, истекает кровью. И когда он снова лег рядом с ней, то ей было с ним хорошо и тогда, и во второй, и в третий раз.



«У него действительно три имени», – подумала она, прежде чем заснуть. И ей не было жалко, что умрет она на три дня раньше, ведь женскому роду суждено жить меньше настолько, насколько чаще была у них радость...

А он зажал её ногу своей, чтобы она не сбежала, и так вместе провели они ночь. На заре он взял три свечи и вывел её на мороз, который больно искушал им щеки. Стиснул её руку, и они двинулись вдоль улицы в сторону кладбища. Вошли через боковые ворота, и он, словно сажая что-то, воткнул в землю свои три свечи. И тут вдруг день будто загорелся на этих трех свечах, заблестел откуда-то со стороны реки, снег засиял белизной, а ночь поседела, падающие снежинки зарумянились, а собаки, сидящие на своем лае, как на цепи, все разом погрузились в сон. Омица и незнакомец переглянулись, он выпустил её руку и произнес каким-то женским голосом:

– Доброе утро!

Она поцеловала его и повернулась, чтоб уйти. В этот момент ей показалось, что его словно и не было, что на самом деле это была Ивана Цветич, но тут же она почувствовала, что кровоточит, а это было – она знала – от него.

Тут взгляд её упал на холмик с его свечами, и она прочитала на нем имена: Иван. Петр. Дамиан.

• • •

Мы сидели внизу в «Москве» за холодным столиком над мраморным полом, словно в ванной комнате. Поверхность стола была липкой, и стакан, если его подвинуть, не скользил, как обычно, а двигался запинаясь. Мы следили за дождем, который одновременно присутствовал и глубоко в слухе каждого из нас, и на всех стеклянных стенах кафе. На улице дождь стекал по веткам вытянувшихся в шеренгу лип и распространял слабый запах чая от простуды и детства. Мы ждали, когда он закончится, и от нечего делать болтали. Разговор вертелся вокруг того, какой красивой была мать нашего товарища по школе Гргура Тезаловича.

– А почему, собственно, была? – заметил вдруг один из присутствовавших. – Она же жива, так что нельзя сказать «была».

Таким образом, мне досталась роль судьи в этом грамматическом споре. Для того чтобы я смог судить, насколько точно употреблена форма глагола, мне описали один случай, исход которого был мне неизвестен, хотя его участников я знал давно и очень хорошо. Антоние Тезалович, отец Гргура, в свое время считался самым интересным мужчиной в городе. У него был маленький рот, размером не больше глаза, а над ним усики, похожие на бровь. Женщины, которые постоянно курсировали вокруг него и то и дело заплывали в его жизнь, были в полном отчаянии, когда он наконец успокоился в браке с дочерью одной из своих поклонниц.

– И что он в ней нашёл? – спрашивали они. – Неужели не видит, что она волосы утюгом гладит?

Ответа на этот вопрос не было, нельзя было не заметить, что у госпожи Руджины прекрасные длинные волосы, которые она иногда убирала за пояс юбки, а иногда укладывала одним движением головы, причем благодаря этому короткому и легкому усилию вся её фигура как-то подбиралась. В такие моменты она закусывала губу, а когда перекидывала волосы с одного плеча на другое, казалось, что половина её тела остается совершенно обнаженной, потому что в этом движении можно было увидеть и оценить всю её целиком – и ноги, которые, опираясь на пальцы, несли на себе тяжесть её красоты, и гибкую талию, и плечи, и грудь, свободно колыхавшуюся под легкими полотняными покрывалами. В такие моменты глаза мужчин были прикованы к ней, а женщины за эти, как они считали, вычурные движения головой госпожу Руджину ненавидели. Иногда она надевала платья с глубоким вырезом, который заполняла своими волосами, что привлекало внимание окружающих и вызывало у них изумление, а седьмой класс нашей гимназии в полном составе постоянно видел маму Гргура во сне... Теперь она очень изменилась. Муж умер, оставив ей сына, красота исчезла, волосы, отяжелевшие и седые, начали изменять ей, так что пришлось их укоротить, и от прошлого, помимо её воли, осталось только то самое, свойственное лишь ей, движение головы, которое делало её похожей на встряхивающую гривой молодую кобылицу. И хотя сейчас оно было бессмысленным и ненужным, она по-прежнему ждала, что оно привлечет к ней взгляды окружающих.

...Ее сын продолжал ходить в нашу гимназию, он был темен лицом и светел под этой смуглой кожей. Мы его не любили, потому что он унаследовал некоторые из материнских черт, и нам, помнившим былую госпожу Руджину, в юношеском лице это мешало. Иногда даже казалось, что при взгляде на него можно по ошибке разволноваться, так же как в свое время мы возбуждались, глядя на его мать. А потом вдруг Гргур внезапно покрупнел, у него появились усики, сам он весь оброс волосами, спина между лопатками стала шире, и он начал носить шинель по моде того послевоенного времени, которая теперь возвращается. Раньше нас эту перемену в нем заметили наши одноклассницы.

– Меня прямо как скорый поезд сшиб, – случайно услышали мы как-то раз слова одной из девочек, обращенные к соседке по парте, и сразу поняли, что речь шла о Гргуре. Так сын госпожи Руджины покинул мужскую компанию и вошёл в женскую...

В то время в восьмом классе Четвертой белградской гимназии, неподалеку от автосервиса, вместе с нами учился некто Косача, которого мы прозвали Журавлем и про которого вряд ли можно было сказать, что у него много общего с Гргуром. Дело в том, что с Косачей довольно рано произошёл не вполне обычный случай, один из тех, которые изменяют всё течение жизни и выглядят так, словно вводят будущее в настоящее время в качестве причины целой череды событий, хотя на самом деле это совсем не так. Однажды он прямо в классе подрался и без малейших колебаний оторвал ухо своему гораздо более сильному противнику, причем сделал это как-то мимоходом, словно срывая с дерева яблоко или грушу. После этого Косаче пришлось покинуть школу, и некоторое время его не было видно. Рассказывали, что следователь, который занимался его делом, потребовал предъявить нож с выскакивающим на пружинке лезвием, который позже фигурировал в качестве вещественного доказательства на процессе об убийстве на Душановаце. Выпущенный за недостатком доказательств, Косача продолжал бывать в компании, крутившейся у здешнего кинотеатра, в центре города вообще не показывался и как-то в разговоре признался, что на улице Теразие не был уже восемь лет. Время от времени он появлялся на танцах в «Дрндаре» неподалеку от церкви на Вождоваце или в кафанах, и в каждом месте, куда заходил, всегда выпивал лишь по одной рюмке сливовицы, следуя по маршруту от «Лавадина» до «Кузнеца». Про него говорили, что в карманах он всегда носит два ножа.

Говорили также, что в первый раз он воспользовался одним из этих ножей во время драки в кафане «Тень липы», где в то время наверху была галерея. Когда он уже выходил, один из его «должников» сбросил с этой галереи ему на голову стул. Косача не растерялся, поймал стул и не раздумывая тут же швырнул его назад, вдребезги разбив все, что стояло на столе нападавшего. Тот выскочил за ним на улицу, но почти сразу же его внесли обратно в кафану, окровавленного, с ножом в животе. Косача не убежал, напротив, он помог внести человека и дождался прихода милиции, а когда от него потребовали, он спокойно предъявил свой нож, который даже не открывал, а уж тем более не использовал. Он объяснил, что противник напал на него «со своим ножом», что они стали драться и упали и в этот момент нападавший смертельно ранил самого себя собственным же оружием. Косачу отпустили, но говорили, что именно с тех пор он постоянно носил при себе два ножа, один из которых всё чаще, легче и искуснее пускал в ход, а второй показывал только при необходимости ещё говорили, что он заматерел и что только

смутное послевоенное время спасает его, да и то временно, от серьезных неприятностей. Позже его действительно посадили, и надолго.

Примерно в это же время на одной студенческой попойке впервые упомянули в связи с Косачей имя сына госпожи Руджины, Гргура. Когда речь зашла о Косаче, один наш школьный товарищ заметил, что заматерел не он один: «По-своему заматерел и ещё один из наших – Гргур Тезалович. Причем благодаря женщинам!»

И это в значительной степени соответствовало истине. Гргур, как говорили, разглаживал утюгом волосы и старательно оттачивал язык общения с женщинами. Это не значит, что, разговаривая с женщинами, он старался подбирать особые слова и выражения, в таких ситуациях разговор особой роли не играет. Но в том, как он держался, в его движениях, в манере, откидывая голову, особым образом встряхивать волосами, в том, как он курил, застегивал пуговицы на шинели или держал чайную ложку, – во всем этом он постоянно подсознательно контролировал себя, ибо всё было подчинено одной цели. Гргур стремительно ринулся в мир любовных авантур, вечеринок, начал бывать не только в компаниях студенток, но и в обществе более взрослых женщин, при этом он прекрасно понимал, что тот бессловесный язык, благодаря которому он пользовался огромным успехом сначала в гимназии, а теперь и за стенами школы, не был дан ему раз и навсегда. Его приходилось учить заново каждые два-три года. Это было как мода. И Гргур постоянно овладевал им заново, страстно и успешно. На самом деле, говорил Гргур, суть моды и её языка в одном – в какой степени в каждый определенный момент женщина напоминает легкий или тяжелый плод. Время от времени мода заставляет женщин, независимо от их реального положения, производить такое впечатление, что достаточно просто пройти вдоль улицы и собрать их, настолько они выглядят легкими и доступными, хотя это вовсе не значит, что так оно и есть на самом деле. Потом мода менялась, иногда стремительно, и теперь требовала от своих поклонниц казаться гораздо более неприступными и холодными, чем они есть на самом деле. Этому закону подчинялось все, и между двумя такими крайностями, как на натянутой проволоке, балансировали поколения и поколения женщин, а вслед за ними и мы, их поклонники, тоже подчиненные всеобщему закону, поставленные в один ряд с украшениями, одеждой, цветом макияжа и аксессуаров... Во всяком случае, с Гргуром однажды случилось такое, что одна девушка переспала с ним второй раз, заключив предварительно пари, что он и не вспомнит, что имел с ней дело раньше. Пари она выиграла.

Интересно, что все мы тут же забыли это сравнение Гргура с Косачей. А потом случилось так, что Косача, которого только что выпустили из тюрьмы, и Гргур в один вечер столкнулись из-за одной и той же девушки. Она была совсем молодой, с маленькими высокими круглыми грудями под самым подбородком и пупком в такой глубокой ямке, что это было заметно даже сквозь платье. Она выдувала шарики из жевательной резинки, стараясь, чтобы они лопнули, и постоянно дула на прядь волос, свисавшую на глаза, чтобы та не мешала ей смотреть. Она жаждала приключений, не смущаясь отсутствием опыта. Она ушла с вечеринки с ними двумя сразу, предварительно пообещав, что в этот вечер готова иметь дело и с одним, и с другим. Ей оставалось только выбрать, кто будет первым. Они шли по Авалской дороге к парку напротив «Кузнеца», и вдруг она спросила Косачу, есть ли у него нож. Когда тот смеясь ответил, что нет, она и у одного, и у другого вывернула наизнанку карманы и сказала:

– Раз нет ножа, то карманы придется отгрызть!

Тут они поняли, что она имеет в виду. Она просто хотела выбрать первого. Косача вынул свой запасной нож, отхватил вывернутые карманы, они взяли девушку под руки, она сунула свои руки каждому в прорезь кармана, и так они продолжили путь.

– Ну, ты уже наконец решила? – нетерпеливо спросил Косача.

– Не могу выбрать. Вы оба тяжеловесы. Просто не знаю, кто хуже, – ответила девушка. В этот момент Гргур то ли от нервозности, то ли по какой-то другой причине откинул свои длинные волосы с одного плеча на другое, всё его тело участвовало в этом движении, напряженное и полное готовности, и это решило дело. И девушка, и Косача приняли решение одновременно. Она тут же вытащила руку из кармана Косачи и повернулась к Гргуру. Ненависть, словно кровь, прилила к голове Косачи ещё до того, как волосы Гргура улеглись на место. Он усмехнулся и спокойно позволил им войти в ворота парка и начать. Почувствовав, что приближается пик, он шагнул к Гргуру и, прежде чем тот изверг семя, вонзил ему в спину один из своих двух ножей.

• • •

Слухи никогда не поползут без причины, а быстрее любой славы разносится молва о зодчестве, о мастерстве рук строителя. Примерно с 1970 года к преподавателю белградского факультета архитектуры Богдану Богдановичу потянулись студенты из разных стран мира, но не те, более многочисленные, которые любят извлекать из книг и лекций именно то, чего они от них и ждут, а те, и прежде всего те, которые хотят на лекциях услышать то, чего услышать никак не ожидаешь. Ходили слухи о необыкновенном спецкурсе последнего учебного семестра, который имел удивительный, почти мистический характер и рассматривал архитектуру как язык, а города – как словари этого языка. О Богдановиче говорили, что он из тех, кто пальцем показывает своей дороге, куда ей идти, а о его учениках – что они свою дорогу сматывают в клубок и кладут себе в карман. В то время среди слушателей курса главного зодчего Богдановича (он любил, чтобы его так называли) оказались и два студента из Багдада, сводные братья, Абу Хамид и Ибн Язид Термези. Богатые и красивые настолько, что им приходилось брить себе головы, чтобы женщины не докучали им и не мешали заниматься учебой, братья привезли с собой в Белград двух пустынных собак пятнистого окраса, одну красивую рыжеволосую негритянку и один общий страшный сон, который был проклятием их семьи, снился из поколения в поколение и назывался «Зевгар» (вололье ярмо), потому что и впрямь был ярмом на шее всех мужчин их рода. Сон о смерти был известен братьям, как их собственные пять пальцев, но они не могли от него освободиться, сравнивали его с пашней, которую два вола могут вспахать за один день, и знали, что страшнее всего видеть его в дождливую погоду, когда так хорошо пьется ракия. Каждый вечер они готовились ко сну, как к тяжелой работе, доставали инструменты, черпаки для воды и сапоги, засовывали себе в нос шерсть, надеясь таким образом заглушить запах лошадиной крови, который постоянно преследовал их. Во время сна они иногда начинали задыхаться, тогда их собаки просыпались и потом в течение нескольких дней не прикасались к воде. Собаки эти были из тех, на которых надо пересчитывать пятна, потому что если у такого пса их меньше трехсот, то он не опасен, но, если больше, он может насмерть загрызть человека. У одной из собак было 234 пятна, и она не представляла собой угрозы, другая же, с 299 пятнами, вплотную приближалась к роковой черте, и черная Тия Мбо постоянно предостерегала:

– Кого-нибудь загрызет!

Про неё же говорили, что она красива только по четвергам и воскресеньям, что груди у неё величиной с человеческую голову (это было видно) и что на каждой груди у неё есть ещё по одному человеческому лицу – на левой женское, а на правой мужское и усатое, чего, правда, никто не видел. Как бы то ни было, сводные братья утверждали, что Тия Мбо – это больше чем одно существо, пускали ей под юбку дым из своих трубок и поочередно спали с ней, говоря, что один спит с Тией, а другой с Мбо.

Все вместе они сняли квартиру недалеко от памятника Вуку и от своего факультета, куда зачислили и Тию Мбо. Дни шли парами, как близнецы или античные боги. Поначалу братья и их подруга отнеслись к еде с большой осторожностью и пили только молоко, но вскоре освоились, говоря, что Всевышний всюду о них позаботится.

Однажды зимним вечером они подстригли ногти, чтобы не брать с собой ничего черного, и спустились в подвал архитектурного факультета на первую лекцию Богдана Богдановича. Они оказались не в аудитории, а в помещении, напоминающем кинозал.

– Кругом уменьшается круг (*Orbem minuit orbe*), – сказал им Богдан Богданович и для того, чтобы незаинтересованные могли сразу же удалиться, всем сделал в зачетных книжках запись, свидетельствующую о том, что курс его прослушан. Но те, кто тогда не ушли, остались до конца, остались, можно сказать, навсегда.

– Красота настолько трудна и на её создание тратится столько усилий, что, соприкасаясь с красивым, мы испытываем облегчение, сознавая, что при общем распределении энергии в мире мы оказались освобождены от известного количества труда. Чужие усилия, вложенные в красоту, сократили нашу долю усталости, избавили нас от определенной траты сил, поэтому мы и можем наслаждаться красотой. В красоте мы просто отдыхаем... По той же причине тот, кто красоту создал, не может наслаждаться ею и отдыхать в ней...

Такие слова звучали в темноте, или, может быть, таким образом слышали их студенты из Ирака, а потом началась лекция. На них обрушился поток зрительных образов, которые демонстрировали через проектор так быстро, что не было времени составить о них какое-то мнение. Вероятно, сначала студенты должны были просто глотать кадры, о природе которых ничего не знали, и этот поток обрушивался на них день за днем, неделя за неделей. Закутанные в темноту, как в пальто, они начали постепенно понимать, что перед их глазами мелькает бесконечный ряд странных зданий, точнее, планы целых городов. На первый взгляд и при столь быстром выхватывании из мрака нельзя было определить, то ли это архитектурные планы ещё несуществующих зданий, то ли фотографии давно разрушенных поселений, от которых остались лишь основания. Но на самом деле это было неважно. Долгое время показ не сопровождался никакими комментариями, кроме рутинных замечаний Богдановича о том, что демонстрируется очень древний материал, которому от тысячи до нескольких тысяч лет...

Отдыхая от лекций по архитектуре, студенты из Ирака и их любовница не скучали. Их пятнистые собаки били хвостами по стульям, волосы Тиы Мбо меняли запах, как только она начинала говорить на родном амхарском языке, и она выглядела более мудрой, когда говорила не на амхарском, а на только что выученном сербском языке.левой рукой она делала на столе чертежи, а правой ногой в то же самое время под столом без единой ошибки записывала что-то в тетради. Она готовила еду ради своего удовольствия, солила пищу так, как будто солит всю комнату, утверждала, что в одно время с ней то же самое блюдо готовит где-то в Аддис-Абебе и её мать, и будила своих любовников, когда чувствовала, что на них нападает сон под названием «Зевгар». Кроме этого сна и богатства, вытекавшего из нефтяных скважин, Термези и Абу Хамид унаследовали от своих отцов и одну шахматную партию, которую в их семье играло уже третье поколение, каждый год летом, по одному ходу с каждой стороны в каждый Рамадан. Сейчас как раз

приближалось это время, ноги болели, оттого что росла вторая в этом году трава; братья оставили все дела, сели за стол и принялись день и ночь обдумывать два своих хода.

– Вот докуда я допрыгался, прыгая со святого места на святое место! – причитал во время игры Абу Хамид.

– Иногда мне кажется, – говорил в ответ Ибн Язид Термези, – что дни и ночи располагаются в моем прошлом не в том порядке, в каком они приходят ко мне. Все мои прошлые ночи сливаются в памяти со всеми другими прошлыми ночами, а все дни соединяются с днями, как если посмотреть на шахматную доску наискось и соединить все чёрные поля с чёрными, а белые с белыми. Наверное, можно увидеть прошлое только с точки зрения королевы или слона: соединив наискось дни или ночи в тот или другой ряд. Настоящее же с его последовательностью дней и ночей видится из перспективы короля, ладьи и пешек. Причем король, ладья и пешка не видят ничего, кроме настоящего. Королева же видит и настоящее, она единственная фигура с двойным зрением. А будущее видит только конь, он способен видеть настоящее на две трети, а будущее на одну треть своего кругозора... К сожалению, мы не кони...

– К счастью, вы не кони, а то бы вы знали, что с вами случится, – отзывалась Тия Мбо, которая сидела и, не отрывая глаз, смотрела на свой бокал. У неё были прекрасные зеленые глаза и ресницы, которыми она задевала брови; говорили, что именно глаза, а не язык выдают её мысли. У неё был бокал из зеленого хрусталя цвета её глаз, и она любила сидеть, пить из этого бокала и разглядывать его, держа в руке или поставив на стол. Бокал ей подарили ещё в детстве, и это зеленое стекло, которое освещало ей мрак, так же как светлячки освещают ночь путнику, было единственной вещью, которую Мбо привезла с собой из Восточной Африки. Мулатка Мбо смотрела в бокал, её кровь кипела, оскал дымился, прекрасные глаза, всегда готовые любоваться красотой, никогда не моргали. Однажды вечером она подала своим любовникам огромный поднос куриных задков, зажаренных на углях каштанового дерева.

– Иногда, – сказала она, – мне кажется, что мои глаза просто сроднились с этим бокалом, мой взгляд быстрее всего и легче всего отдыхает, когда останавливается на нем, его зелёный цвет сливается с зеленым цветом моих глаз, он словно стал моим другом... Бывают моменты, когда стекло как будто бы хочет о чем-то мне рассказать; знают ли ваши кони, что это значит?

Иногда сводные братья звали Тию играть с ними в шахматы, но она отказывалась. Она всегда говорила, что на этой доске с людьми играют злые духи, но их увидеть нельзя.

– Как это нельзя увидеть? – спрашивал её Термези.

– А так, – отвечала она ему, – возьми черную фигуру – и увидишь, что под черной краской у неё белая душа дерева, из которого она сделана. Я хочу сказать, что совершенно неважно, как делятся фигуры снаружи: все они, и чёрные и белые, на самом деле внутри наполовину белые, наполовину чёрные и борьба между чёрными и белыми идет внутри каждой из них, а не снаружи. И на эту внутреннюю борьбу не могут повлиять ходы, которые вы обдумываете. В игре участвуют не только два враждующих войска. Участвует и поле, по которому они ходят. Как только они оказываются на черном поле,

черное в белых и черное в чёрных фигурах, то есть злые духи в людях и злые духи в злых духах черпают силу с этой темной поверхности, из этого мрачного основания. И наоборот, как только они оказываются на белом поле, к ним снизу приходит помощь и поддержка тому светлому, что есть в людях и в злых духах, участвующих в партии. Так что сражаются не только светлые и темные тайны их сущности, но и земля под их ногами. Как же можете вы вашими жалкими ходами повлиять на исход событий? К чему играть в игру, в которой вы никто и ничто?

2

Листья в городе меняли цвет, осень уселась в тарелки и ложки, Тия Мбо привыкала к холоду, готовилась к снегу, заливала на зиму вином виноградные гроздья, чтобы, начиная с весны, подавать к столу свежий виноград. Занятия Богдана Богдановича изменили ритм. Кадры на экране сменялись медленнее, зрителям удавалось разглядеть детали; сходства и различия указывали на то, что все планы фундаментов зданий делятся на несколько семейств. И тогда преподаватель дал первое задание. Надо было выбрать одно из этих семейств и в дальнейшем сосредоточить на нем внимание. И вот вокруг определенных знаков стали формироваться определенные группы студентов. Всё то, что демонстрировалось в течение многих недель, теперь предстало перед ними как множество древнейших урбанистических схем, на основании которых требовалось реконструировать древний город и жизнь древнего поселения. Каждая группа, изучив выбранные планы, должна была воссоздать город, его обычаи, здания, транспортные пути, религию, общественное устройство и политические условия жизни – все, вплоть до языка, музыки и других особенностей. И группы взялись за дело. Они работали не над проектами зданий, а над проектом целого утопического города, исходя из тех предположений, которые сделали сами на основании полученных планов.

«Это дьявольски трудно», – думали сначала студенты Богдана Богдановича, мучительно пытаясь распознать на полученных древних планах храм, городскую площадь, пристань или другие постройки поселения. Иногда они просили преподавателя помочь им и дать какие-то объяснения, но он отказывался и всегда отвечал одно и то же:

– Лучше всё узнать сразу, чем постепенно. Лучше, например, выучить две вещи вместе, а не по очереди. Два таких знания нельзя даже сравнить друг с другом. Впрочем, ещё лучше – выучить не две, а три вещи сразу, именно сразу, а не поочередно. Но человеку трудно выучить одновременно более двух вещей, хотя человек – это единственное существо, которое умеет обратить в мысль съеденный хлеб с сыром.

Тут студенты заметили, что не понимают слов преподавателя, а Тия Мбо засмеялась и сказала, что всё это очень просто, а потом привела такой пример:

– У тебя есть муж, и ты узнаешь, что он тебе изменяет, – это значит изучить одну вещь. У тебя есть муж, и ты узнаешь, что он тебе изменяет с твоей сестрой, – это значит выучить две вещи сразу. У тебя есть муж, и ты узнаешь, что он тебе изменяет с твоим братом, – это значит выучить три или даже четыре вещи одновременно.



Студенты смеялись таким примерам, чувствовали себя странно, ходили среди смеха своих товарищей, как ходят по лесу или на ветру, и продолжали блуждать по своим чертежам. Именно тогда, когда все выбирали себе группы, произошла неожиданная вещь. Два студента из Ирака оказались в одной группе, а Тия Мбо – в другой. Им едва удалось уговорить её перейти к ним в группу, где, по правде говоря, кроме них самих, никого и не было. Она пришла со своим зеленым бокалом, зелеными глазами и с карандашами в бокале, и работа началась. Они выбрали себе архитектурный лексикон, который состоял из знаков странной остроугольной формы, в их комплекте планов бросались в глаза колоннады с треугольными капителями, серповидные пустые пространства и параллельные друг другу продолговатые дворы. И не успели они начать работать, как столкнулись с тем, что означает выучить две вещи сразу, а не две вещи по очереди. Один студент случайно сделал открытие и объявил о нем всем. Знаки, которые они рассматривали в течение месяца, вовсе не были планами строительных сооружений, это были сильно увеличенные буквы древнейших азбук, начиная с иероглифов и кончая греческой скорописью и глаголицей. Взятые отдельно и увеличенные, эти буквенные знаки действительно выглядели как планы зданий, и процесс преподавания Богдана Богдановича должен был показать, как в азбуке определенной культуры обнаруживает себя её архитектурный язык и то, что этим языком написано. Преподаватель умышленно всё сказал об этом заранее, но теперь его студентам уже некуда было деваться: они по привычке воспринимали буквенные знаки как планы построек...

Так студенты из Ирака и их любовница разом выучили две вещи: то, что улицы выбранного ими города – это на самом деле сильно увеличенные стихи, написанные на некоем мертвом языке, и то, что буквы этого языка, который Ибн Язид Термези и Абу Хамид выбрали, не зная, что это за язык, являются клинописью их древней прародины, письменностью шумерской цивилизации, связанной с вавилонскими городами Ур и Урук, которые находятся на территории современного Ирака. Это знание наполнило их удивительной силой, а Тия Мбо сказала:

– Значит, наш город можно прочесть!

Они назвали его «Зевгар», надеясь таким образом победить свой страшный сон.

– Мы и так уже столетиями живем в «Зевгаре», – говорили они, – почему бы не построить дом для этого сна?

Тия Мбо была против такого названия, она чистила рыбу конской скребницей, так что чешуя, как искры, разлеталась во все стороны, носила свой бокал на лекции и любовалась им со всеми его карандашами и ручками. Но над реконструкцией города она работала как одержимая, делая чертежи левой рукой на столе и записывая иногда что-то ногой под столом.

– Вы знаете легенду о дворце в Эфесе? – спросила она как-то раз. – План основания чертят на земле, а дворец возводится в раю. Так человек может купить себе дворец на небесах... Но существуют и другие дворцы, которые, наоборот, проектируются на небе, а возводятся здесь, на земле. Как наш город... Я иногда боюсь этого города. И почему вы меня заставили строить его с вами? Иногда я спрашиваю себя, все ли мои дела и все ли мои поступки в равной степени удалены от меня, подобно тому как точки окружности

равноудалены от своего центра. Может быть, некоторые вырываются за границу круга? И чьи же они тогда? Может быть, Бога?

Студенты из Ирака смеялись над страхами Тии Мбо, и, работая над своим проектом, они все вместе создавали улицы, храмы, площади и дворцы, башни и пристани необыкновенного города. Буквы азбуки превращались в здания. Из языка вырастал город. Устав от работы, они после занятий гуляли по улицам Белграда, и он открывал им свое тайное лицо в том же темпе, в каком продвигался на бумаге «Зевгар». Следуя за белградскими ветрами и узнавая их ближе, они поняли, почему так, на первый взгляд бессмысленно и криво, были проложены в свое время улицы. Они слышали, как ночью под мостовой на большой глубине с ревом падают вниз канализационные воды, и почувствовали ту подземную крутизну большого города, от которой на ровном месте начинается головокружение. Они увидели, как освещаемые светофором листья становятся то зелеными, то желтыми, то красными, словно стремительно меняются времена года. Увидели, что люди заставляют каштан и липу стоять в аллеях вместе, хотя эти деревья испокон века не переносят друг друга, настолько, что тот или другой вид в конце концов не выдерживает и засыхает, ведь к старости ненависть становится важнее любви. Ночами они гуляли по городу. Где-то было слышно, как тихо поют женщины, где-то чувствовался запах шкварок на молоке, а издали доносился гул городского транспорта, огибающего углы улиц. Иногда они оборачивали голову мешочками с теплой золой, чтобы сохранить хорошее зрение в холодную ночь, иногда попадали в летние вечера, когда, ступая по упавшим на землю черешням, слышали, что их косточки скрипят, будто зубы. Они научились узнавать руку зодчего, создавшего здание, руку, которой столетиями покорялись два вечных материала их ремесла: ненавидящие друг друга дерево и камень. Они увидели, как в полночь строители тайно льют вино под фундамент, как, делая кладку, стараются поймать под кирпич тень птицы, они узнали, что деревья для строительства можно рубить только три месяца в году и нельзя в новолуние, иначе заведутся черви, что, прежде чем ударить по камню, надо ему что-то шепнуть, что каждое утро перед работой следует перекрестить себе рот, и они, такие богатые и красивые, чувствовали стыд, потому что все эти люди из века в век были готовы строить, питаясь водой и паприкой, сыром и хлебом... Было очевидно, что свой хлеб с сыром они умели обратить в мысль, и мысль эта была из камня. А Тия Мбо удивила их ещё раз. Она была православной, как и многие её соплеменники из Эфиопии, и однажды купила у цыган из Панчева маленькую деревянную иконку и повесила её в автомобиле, на котором ездили Хамид и Термези. А как-то вечером прямо со Скадарлии отвела своих любовников в церковь Александра Невского на вечернюю службу. Они вошли вслед за ней в дымку от пламени свечей, и она сказала им, что хочет помолиться.

– О чем помолиться? – спросили её Термези и Хамид.

– Я молюсь за «Зевгар».

– За «Зевгар»? – Они засмеялись.

– Зря смеетесь, – ответила им Тия Мбо. – Разве вы не понимаете, что с этим проектом мы оказались в безвыходном положении?

Это была правда. Какое-то время город из клинописи возводился, но потом всё зашло в тупик. Буквы стали сопротивляться прочтению.

3

Появились планы, то есть буквы, расшифровать которые было нелегко, а предназначение зданий, которые можно было бы построить на таких фундаментах, казалось полной загадкой. Две вещи представлялись особенно трудными.

1. Среди планов зданий (букв) один имел очень странную ломаную форму, с двумя входами с одной стороны. Они думали, что, может быть, это фундамент какого-то разрушенного храма, но это было лишь предположение. Они нарисовали этот фундамент, то есть написали букву на кусочках бумаги, и все трое носили её с собой как амулет, безуспешно пытаясь отгадать смысл, скрытый в странном лингвистическом знаке, который не желал становиться зданием. И чему только может служить такое здание? – безуспешно задавались они вопросом.

– Один конец истины всегда находится в земле, как корень, который её питает, – сказал Ибн Язид и начал с лупой в руках изучать каждую букву их стиха, каждую деталь их будущего города. Таким образом в проекте «Зевгар» он обнаружил ещё одну загадку:

2. По краям букв имелись неровности, выступы неправильной формы, и студенты не знали, следует ли принимать их во внимание при создании проекта города.

Тогда Тия Мбо предложила проверить, что за текст написан клинописью, с которой они имели дело, и что он значит. Оказалось, что речь идет о древнем эпосе о Гильгамеше, а стих, который был их заданием и из которого они должны были построить свой город, был взят с таблички, описывающей потоп. Стихи, которые стали основой их города и чьи буквы были использованы как планы зданий, описывали ужасные ливни, уничтожающие всё живое. Бессмертие находится и исчезает в воде – такую мысль несла табличка, буквы которой они превращали в дома.

Но такая подсказка никак не помогала им решить вопрос относительно неровностей по краям букв или узнать назначение странного здания с двумя входами с одной стороны. Тогда они решили спросить об этих двух вещах своего преподавателя.

– На второй вопрос, – сказал им Богдан Богданович, – ответить нетрудно. Вы можете поступать как хотите. Я же скажу вам только, откуда взялись эти неровности по краям букв. Они никак не связаны с намерением писца и возникли совершенно случайно. Они не

вливают ни на форму буквы, ни на содержание и смысл текста. Короче говоря, дело вот в чем: неизвестный нам писец, переписывая эпос о Гильгамеше с каменной таблицы на пергамент лошадиной кровью, работал при свете свечи. Мошек, летавших вокруг свечи, привлекал запах крови, они садились на перо, тут же, утонув, погибали, а потом вместе с лошадиной кровью налипали на буквы, которые выводило перо. Вот откуда неровности по краям букв. Это крошечные трупы мошек. По этому вопросу мне больше добавить нечего.

Что же касается первого вопроса, то он трудный. Другими словами, он такой, что человек, получив ответ на него, должен узнать больше, чем три или четыре вещи сразу, а это превосходит человеческие возможности. И это же защищает нас от вопросов, которые слишком опасны. Но, может быть, однажды этот ответ появится сам собой, так что, вероятно, дело не в ответе, а в его цене. Если она больше, чем вы можете заплатить, а товар вы уже забрали, положение ваше будет не из приятных. Подумайте об этом, и всего вам хорошего...

Теперь студенты продолжали работать над «Зевгаром» с большей осторожностью, дело шло своим чередом; вскоре они закончили свои чертежи, защитили дипломы, забрали собак, сделали ещё по одному ходу в унаследованной ими шахматной партии и вернулись домой в Багдад. Тия Мбо, однако, не захотела последовать за Термези и Абу Хамидом.

– Почему бы тебе не поехать с нами в Ирак и не строить там вместе с нами? – спросили они её при расставании.

– Я останусь в Африке, там буду строить, – ответила им Тия и уехала в Эфиопию, взяв с собой одну из двух собак, ту, у которой было 299 пятен и которая могла кого-нибудь загрызть. Тия строила больницу и иногда брала почтовый конверт, плакала в него и отправляла, такой мокрый, соленный и пустой, в Багдад. Термези и Абу Хамид стали известными в своей стране архитекторами. Их дальнейшая судьба была сказкой из «Тысячи и одной ночи». И сведения о них, приходившие в Белград, напоминали рассказы этого знаменитого сборника: отрывочные и переделанные рассказчиками по их собственному усмотрению. Во всяком случае, было ясно, что судьба двух бывших студентов из Ирака не была похожей на судьбу их любовницы.

А с Тией Мбо произошло страшное. Во время войны между Эфиопией и Сомали вражеская армия заняла город, в котором Тия Мбо строила больницу. Когда солдаты ворвались в здание, Тия Мбо сидела за своим чертежным столом.левой рукой она работала карандашом и линейкой, а правой ногой под столом записывала в тетрадь имена всех тех, с кем когда-либо вместе ела. Каждый день она вспоминала очередное имя и под столом вносила его в тетрадку, лежавшую в темноте возле собаки с 299 пятнами, а наверху, на столе, продолжала набрасывать чертежи «Зевгара», потому что он был единственным воспоминанием, которое успокаивало её в минуты страха.

Солдат, выломав дверь и ворвавшись в комнату, налетел сначала на собаку. Но Тия Мбо на него даже не взглянула. Она сразу посмотрела на его ноги в солдатских ботинках. Пол в помещении был выложен белыми и чёрными плитами, как того требовал её проект. Солдат, войдя в комнату, встал на белую плиту и тут столкнулся с собакой. Она зарычала и вскочила, чтобы броситься на человека, но на какое-то мгновение замерла в

нерешительности и не пустила в ход свои зубы. Тии Мбо показалось, что она колебалась ровно столько, сколько пятен не хватало ей до трех сотен. Этого оказалось достаточно, чтобы солдат сделал шаг назад (было видно, что он переступил с белой плиты на черную), пришёл в себя и убил собаку. Но Тия Мбо, не обращая внимания на происходящее, продолжала смотреть на его ноги. Солдатские ботинки на черной плите были последним, что она видела в жизни. Потому что солдат повернулся, схватил со стола зелёный бокал, разбил его и осколком выколол девушке глаза...

Когда Термези и Абу Хамид узнали о несчастье, они стали вспоминать, как жили с Тией Мбо в Белграде, какие у них были общие планы и намерения, и теперь, более десяти лет спустя, снова достав и развернув чертежи «Зевгара», который они спроектировали в Белграде, но так никогда и не построили, они увидели кляксы по краям букв и снова удивились тому необычному зданию с двумя входами с одной стороны, чье предназначение осталось для них загадкой.

– Смотри тремя, а не двумя глазами, – сказал Термези сводному брату, – ведь Тия Мбо теперь ничего не видит, мы будем смотреть и за неё!

Абу Хамид сидел и чувствовал, как собака у его ног стареет быстрее, чем он сам.

– Почему бы вместо дома на берегу реки нам не построить «Зевгар», которому мы вместе с Тией Мбо отдали свою молодость? – сказал он.

– Зачем нужен такой город? – спросил Термези.

– Мы могли бы привести туда Тию Мбо, чтобы она могла потрогать «Зевгар» руками и поселиться в нем, ведь на бумаге она его уже не увидит. Почему бы и нам не поселиться в стихах? Самые лучшие стихи – это те, в которых можно жить.

Они были настолько богаты, что без труда нашли деньги для такого проекта. Потом определили место на берегу Евфрата, там, где идут красные дожди, и начали строительство точно по чертежам, сделанным в студенческие годы.

Они, конечно, не стали реконструировать весь город полностью, а просто решили построить одну площадь и все, что её окружает, включая и то необычное здание с двумя входами с одной стороны, чье предназначение не сумели понять. Это была удивительная работа, здания поднимались одно за другим, а когда по небу по второму разу пошли облака, уже проплывавшие здесь когда-то раньше, словно новых больше не осталось и словно всё теперь будет повторяться сначала, два сводных брата закончили работу, поселились каждый в своей части «Зевгара», оставив одно здание для Тии Мбо.

Жить в «Зевгаре» было приятно, одно за другим обнаруживались разные практические преимущества зданий, назначение многих из них стало понятно только теперь, однако странная постройка с двумя входами продолжала оставаться загадкой, она берегла свою тайну. Именно там особенно любили сидеть Абу Хамид и Ибн Язид Термези по вечерам, здание было прохладным и с лучшей акустикой, чем остальные дома на их площади. Как-то вечером они сидели и ели хлеб, кусая его с двух сторон, и козий сыр с перцем, думали о Тии Мбо и считали пятна у своей новой собаки. На небе собирались облака, звезды сияли таким колючим блеском, что при взгляде на них щипало в глазах, потом архитекторы

услышали, как забарабанил по крыше дождь, Термези встал, посмотрел на улицу из одного входа и, вернувшись назад, сказал:

– Красные дожди – пока свое дело не сделают, не кончатся. Как в нашем сне...

Действительно, ливень обрушился на землю с такой силой, что брызги долетали до лампочек, которые горели только в странном здании, где сейчас сидели два архитектора. И вдруг хлынул сплошной поток, его рев поглотил шум дождя, улицы наполнились бурлящей водой. Страшная красная река ворвалась в здание и, точно повторяя движение пера, которое более тысячи лет назад изобразило тот клинописный знак, что стал основанием здания, хлынула внутрь, дошла до стены, развернулась и потекла назад, до потолка наполняя комнаты водоворотами и грязью. Красный дождь прошёл все изгибы и повороты, сделанные когда-то чернилами из лошадиной крови, и ещё раз выписал букву, означающую потоп. Когда вода схлынула, а наносы глины высохли, Абу Хамид и Ибн Язид Термези остались раздавленными и прилепленными к стене потоком воды и грязи, и в течение столетий никто не замечал их тел под коркой засохшей глины.

Нашли их случайно. Какие-то студенты, изучавшие архитектуру, получили задание реставрировать странные развалины на берегу Евфрата, они-то и обратили внимание на неровность стен и указали на это преподавателю...

• • •

ТУНИССКАЯ БЕЛАЯ КЛЕТКА В ФОРМЕ ПАГОДЫ

(Происшествие в доме Луки Человича, ул. Кралевица Марка, 1)

Человеческие мысли как комнаты. Бывают роскошные дворцы, а бывают и чердаки под крышей. Есть солнечные, а есть и темные. Одни смотрят на реку и небо, а другие на вентиляционный люк или подвал. А слова как вещи, они могут перемещаться из одной комнаты в другую. Наши мысли, то есть наши комнаты, составляют анфилады дворцов или казарм, а могут быть и чужим жилищем, в котором мы только снимаем угол. Иногда, особенно ночью, мы оказываемся перед закрытыми на замок дверями и не можем выйти наружу. Мы заточены в темнице, до тех пор пока сны не избавят нас и не выпустят на свободу. Но снов, как и сватов, надо ещё дожидаться. А пока их нет, властвует бессонница. Говорят, есть две бессонницы, они словно две сестры. Одна приходит, когда ты не можешь заснуть, а другая – когда просыпаешься среди ночи. Первая – мать лжи, вторая – мать правды.

С тех пор как я живу один, меня всё чаще мучат приступы бессонницы, и я борюсь с ними с помощью тщательно разработанного метода. Всё совершается мысленно, когда я лежу в кровати. И всё это имеет отношение к моей профессии дизайнера по интерьерам. Сначала я выбираю в городе дом, который мне больше всего подходит. Например, такой, который поставили на овсяную солому, чтобы злая энергия не могла подняться из-под земли в комнаты. Когда я нахожу что-нибудь подобное, я начинаю каждый вечер мысленно перестраивать и обставлять этот дом. Населять его мебелью, которую сам придумал. Но я занимаюсь домом не просто для того, чтобы он лучше выглядел. Я предназначаю его определенному лицу. Исключительно определенному лицу. Это дом для Я. М.

Началось это так...

Как-то во время вечерней прогулки я обратил внимание на один особняк и постарался узнать о его истории все, что было возможно. Дом находится в самом начале улицы Кралевица Марка, которая поднимается от Савской пристани к улице Зелени Венац и отклоняется в сторону, для того чтобы по ней не гулял ветер. Фасад здания украшают окна в форме креста, такие, каких больше не делают. Дом поставлен на «живой девятке», которая, в отличие от других девяток, не является нулем. Здание известно как «дом Луки Человича». Оно построено, как утверждают справочники (Г. Гордич, Б. Вуйович), в 1903 году по чертежам инженера Милоша Савича в стиле Неовозрождения с элементами необарокко. Это «угловой объект делового и жилищного назначения с подвалом, тремя этажами и чердачным помещением. Главный фасад оживляют большие проемы первого этажа, где сейчас расположены магазины, и массивные тимпаны над окнами второго

этажа. Здание венчает профилированный карниз с консолями и аттик с классическими чердачными окнами...». Над входом виден герб с переплетающимися буквами «Л Ч Т» и плита, на которой написано, что здание принесено в дар Белградскому университету. Владелец этого дома – известный белградский коммерсант Лука Челович (1854-1920) – был долгие годы председателем Белградской торговой палаты, что располагалась в красивейшем соседнем здании, которое выходит на площадь, называвшуюся Малый Рынок. Недалеко отсюда, на углу возле многоэтажного дома на улице Караджорджева, стоит бронзовый бюст Человича. Он смотрит на юго-запад, в сторону города Требинье, откуда Лука в 1872 году приехал в Белград, купил себе землю и построил на пристани несколько самых красивых домов. Он был одним из основателей повстанческо-четнического движения Сербии, занимался операциями на белградской бирже и делал пожертвования научным учреждениям. О нем говорили, что он по скрипу пера отгадывает, что пишут его счетоводы.

Вместо того чтобы пересчитывать обувь, которую я себе когда-то купил и которая мне так и не подошла, я решил во время бессонницы переделывать и обставлять дом Луки Человича. Я знал, что он нравился Я. М., а это имело для меня решающее значение. Я. М. особенно тонко чувствовала «зоны» позитивной или любой другой энергии. Часть города между Соборной церковью и Савой она считала несомненно благоприятной зоной. Здесь, на низком берегу реки, где зима пахнет осенью, а весна – зимой, Я. М. начинала носить свое настоящее имя. А как только уходила из этой зоны, она звалась по-другому и становилась кем-то другим. Короче говоря, выбор пал на семейный особняк Луки Человича.

Мысленно войдя в это здание, я прежде всего шепотом, как заклинание, произнес в каждой из семнадцати комнат по одному из семнадцати звуков имени Я. М.

Могу признаться, что к этому времени я проделал большие подготовительные работы особого рода. Когда я мог ежедневно наблюдать за Я. М., я видел, как движутся её руки, её узкие ладони, я видел, как она ходит, причёсывается, держит голову, как двигает красивыми плечами и бедрами, как колыхнется её грудь, когда она садится, как при этом изгибается её тело, что делают ноги, когда она, свернувшись клубочком, сидит в кресле или когда бежит, я видел, как застывает в повороте её голова, когда она раньше всех остальных слышит гул самолета, несущего бомбы... Потом я составил маленький «словарь движений» Я. М. За каждым движением я закрепил свой знак. Особенно трудно было придумывать знаки для неповторимых движений её танца. Она танцевала всегда только одна, не делая исключения даже для меня, и в танце становилась ещё прекрасней. В моем словаре появились знаки, подобные тем, которыми, делая пометки на своих партитурах, пользовались русские мастера балета, такие как Нижинский. Из знаков я составил словарь, чтобы любое движение было легко отыскать. Получился своего рода каталог жестов, некая тайная азбука. Это напоминало клавиатуру компьютера, которая управляет прыжками, бегом, плаванием или жестами действующих лиц в компьютерных играх для взрослых, которые мы с Я. М. когда-то называли «романами без слов». Чтобы вызвать эти движения, я выдумывал разные виды мебели, потому что для каждого предмета обстановки было предусмотрено одно движение Я. М. – открывание дверей, выдвигание ящика, опускание доски секретера. Имея за плечами такую подготовку, я взялся за устройство дома, который должен был в полной мере отвечать привычкам Я. М.

и её манере двигаться. Я хотел, хотя бы мысленно, выманить у неё всё разнообразие движений, поворотов, жестов, которые она совершает и когда открывает дверь, и когда поднимается по лестнице, и когда выходит из дома...

Раздумывая по ночам над моим проектом, я решил не менять фасад дома. Я только немного умыл его с помощью красок. Такой, как белый «бермет», и такой, как одно шипучее итальянское вино с синеватым оттенком. Во время предыдущей бессонницы я уже изучил интерьер дома Луки Человича и теперь принял решение перестроить лестницу. Я вспоминал, как однажды в Вене, во дворце Ауэрсберг, Я. М. шла по барочной лестнице, которая на площадке верхнего этажа разделялась и спускалась дальше двумя изящными маршами. Я. М. протянула руку, намереваясь коснуться роскошных металлических перил, но потом вдруг отдернула руку. Я вспоминал, как она повернулась и сошла с закругленного края последней ступеньки. В том здании, где находилась Белградская торговая палата, была подобная лестница, и я подумал, что хорошо было бы воспроизвести её и в доме Луки Человича. Однажды вечером я мысленно разрушил два магазинчика на первом этаже по обе стороны от входа и получил место для строительства расходящейся надвое лестницы, которую сначала подвел прямо к центральному окну второго этажа, а потом опустил вниз, что было уже гораздо легче. Новая лестница была каменной, с кованой чугунной оградой и перилами из орехового дерева, для того чтобы холод металла не спугнул её руку, как это случилось в Вене. Я лежал в кровати и во время вдоха ясно видел расходящуюся надвое лестницу, а во время выдоха она исчезала.

В витринах разрушенных мной магазинов я установил витражи с двумя сновидениями Я. М., о которых она мне рассказала. На том, что слева от входа, был изображен сон про облака.

«Облака, неподвижные и густые как мох, закрывают всё небо. „Зеленые, как плесень!“ – говорит кто-то поблизости. Люди за городам, лёжа навзничь на траве или откинувшись в своих кабриолетах, смотрят, как облака прилипают к самым высоким деревьям. В больших городах мох прирастает к верхушкам небоскребов, словно панцирем охватывая всю планету. Иногда эти массивные и мёртвые ковры из небесного болота прогибаются вниз, и весь покрытый мхом свод Земли в этом месте колеблется и опускается, так что людей охватывает головокружение. Самолеты больше не летают...»

Во время очередных своих бдений я устроил в задней части дома Луки Человича бытовые помещения: две кухни, летнюю и зимнюю, и две ваннные комнаты, большую и маленькую. Чердак с тремя окнами я превратил в ботанический сад. Здесь Я. М. могла завтракать и курить свои разноцветные сигареты.

Закончив грубую работу, я начал приводить в порядок внутренние помещения. Не следует думать, что если работа велась мысленно, по ночам, в кровати, то я не делал обычных и необходимых в моей профессии дел. В мастерской Лунича, рядом с Калемегданом, я заказал ручки и замки для дверей. Я всегда именно у него покупаю скобяные изделия, когда занимаюсь дизайном объектов. Но в тот раз я заказывал нечто

особенное. Даже двух одинаковых ручек там не должно было быть. По очень простой причине. Каждая ручка предлагала длинным пальцам Я. М. какое-то свое движение. Готовые ручки я рассматривал с наслаждением. Одна была в форме птицы, и Я. М. должна была братья за неё, открывая двери зала для танцев в верхнем этаже дома, другая – в виде смычка, третья представляла собой китайский веер. Тут были и стеклянные яблоки, и мраморные мячи, и ручка из рогов козерога, а для дверей спальни я приготовил ручку из елового дерева, которая всегда будет пахнуть заснеженным лесом. Ручка входной двери представляла собой дамский револьверчик XVIII века. Дверь открывалась, если спускали курок. Движения руки, необходимые, чтобы открыть все двери, вместе составляли около пятидесяти тактов танца на любимую мелодию Я. М. «Ausencia»...

Конечно, иногда я ходил посмотреть на дом Луки Человича и днем. Он был в плохом состоянии и выглядел много хуже, чем в моих фантазиях. Витрины магазинчиков на первом этаже были покрыты пылью, а в углу на ступенях главного входа сидел какой-то тип в заплатанной шляпе и курил трубку. От мундштука воняло мокрыми козьими рогами, а уши курильщика украшала засохшая пена для бритья. Всё это и впрямь разочаровывало.

Но когда спускалась ночь, я с ещё большим усердием обставлял каждый уголок этого дома. В скобяной мастерской Лунича я заказал пятьдесят пар отлитых из бронзы губ, мужских уса́тых и женских, покрашенных помадой, чтобы эти металлические губы, на стенах комнат и присоединенные к вентиляции, заменяли пепельницы и жадно засасывали пепел и окурки, которые Я. М. разбрасывала по всему дому. На третьем этаже я разломал все стены, и получилась просторная «музыкальная комната», вернее, танцевальный зал с тремя окнами, выходившими на бывший Малый Рынок. Здесь Я. М. могла высвободить свою необузданную танцевальную энергию в бешеном темпе музыки «Лунного света». Для танцев был положен новый паркет с рисунком лабиринта из Шартра, о котором Я. М. с удовольствием вспоминала.

Большую ванную комнату я устроил на третьем этаже со стороны двора. Дверная ручка в виде трубки для курения гашиша впускает вас в большое прямоугольное и почти пустое помещение. Потолок освещён так, будто над вами небо, ползатыанутое облаками. Ступив на фиолетовые и бледно-чёрные плиты, вы замечаете в самой глубине стеклянную кровать, покрытую красным непромокаемым одеялом. Нажатием кнопки, с помощью которой можно регулировать частоту и наклон струй, в ванной включается дождь. Таким образом, Я. М. может спать под теплым дождем в своей стеклянной кровати или – а это ей особенно понравится – включить музыку и под звуки «Хазарской дороги» танцевать под ливнем. Я всё ещё помню движения её плеч, будто сошедших с фресок в гробницах фараонов, на которых египтянки обязательно изображены в профиль. Окно ванной комнаты – это хрустальная полусфера высотой в человеческий рост, в которую заходишь так, как зашли бы в телефонную будку, оклеенную афишами. В его матовом стекле видна сильно увеличенная фотография маленького сына Я. М. Он стоит, потягивая через соломинку кока-колу.

В кабинете Я. М. на втором этаже я на цепях подвесил к потолку плетеное кресло, у которого вместо сиденья настоящее конское седло со стремянами и передней лукой, за неё Я. М. может держаться, когда, сидя на этой качалке, дает отдохнуть своей шее и спине после работы за компьютером. Одна стена целиком представляет собой монитор

компьютера. Свою любимую героиню, свое alter ego, Лару Крофт, Я. М. может увидеть в полный рост. В боковые сёдельные сумки я положил в качестве подарка ноутбук, в который загрузил все опубликованные произведения Я. М. и небольшую библиотеку её любимых книг. На стене за стеклом покоится на бархате школьная ручка Я. М.

Большая кухня устроена таким образом, что летом через неё пролетают тени птиц, а зимой падают на пол тени снежинок. Свет поступает и из ложных окон, представляющих собой карты Корнуолла и Египта, которые так любит Я. М. На стене висит грубое полотенце, на нем вышита печь с горшком, а рядом две деревенские красотки. Надпись на полотенце, вышитая красной нитью, передает их слова:

– Ешь, кума, пока капуста горяча!

– Когда пошла, сыру поела, вот и не голодна!

Тунисскую белую клетку в форме пагоды я поставил в углу рядом с креслом. В клетке спит полосатая кошка, такая, например, как Константина, которую Я. М. нашла в Греции, полюбила её и часто говорила, что Константина видит вместо своих снов мои сны. Я. М. никогда не готовила блюд, которые требовали больше времени, чем нужно для того, чтобы прослушать два раза песню «Девяностые». Но, принимая во внимание стремительность Я. М., это можно приравнять к часу или полутора часам в исполнении другой особы. Я. М., смеясь, говорила, что живёт так быстро, что через пару лет станет старше меня, хотя я и гожусь ей в отцы. У неё было своеобразное правило: время, потраченное на приготовление обеда, не должно быть больше, чем время, нужное для того, чтобы его съесть.

Маленькая ванная комната имела треугольную ванну-джакузи и стеклянный шкафчик с хрустальным стаканом и бутылкой «Рамадзотти». Я. М. могла бы брать их, не вставая из ванны и используя тот жест, с помощью которого она, лёжа в кровати, всегда могла дотянуться до чего угодно. В центре маленькой ванной стоят средневековые женские носилки. Если поднять подушку, можно увидеть сиденье кресла из слоновой кости, в котором есть закрытое сверху овальное отверстие. Под ним находится пустой короб из мрамора, который ведет под землю. Там, на дне, текут канализационные воды...

Спальня Я. М. была устроена на третьем этаже рядом с большой ванной комнатой. К ней должна была примыкать небольшая гардеробная. На Я. М. прекрасно смотрелись как женские, так и мужские костюмы и шляпы. Она с одинаковым удовольствием носила и свои, и мои вещи, её туфли оставались новыми в течение десятилетий. Я развесил в шкафу и её, и свою одежду. Но тут моя работа остановилась...

Если не считать голубого диванчика, который я сразу поставил между двумя окнами, и странного зеркала с дырочкой в углу, я никак не мог во время своих бдений взяться за обстановку спальни. И неудивительно. Ведь это был ключевой момент. Все работы по внутреннему оформлению дома я предпринял не только ради того, чтобы усмирить свою бессонницу. У меня была и другая, более важная причина: я страстно желал вернуть Я. М.

в мою жизнь. Пусть даже таким дурацким и безнадежным способом, как мысленное повторение всего набора её движений от прихода домой и до отхода ко сну. Предметы, расположенные в доме, вызывали в моем воображении фильм о движениях Я. М. Она была такой быстрой, самой быстрой из всех, кого я знал. Она умела первая увидеть, первая протянуть руку и ответить так, как будто выстрелила из рогатки. Может быть, она, такая быстрая, думал я, сумеет ощутить сконцентрированную материю своих движений в моих мечтах и ответить на них, пока ещё не поздно. Может быть, она на самом деле придет посмотреть дом у Малого Рынка, населенный во время моей бессонницы её шагами и её танцами.

...

Разумеется, по утрам серые будни разрушали такие надежды. Достаточно было взглянуть на грязных птиц на небе и тающие облака. В одно такое утро на работе меня ждало сообщение о том, что какой-то клиент просит позвонить ему. Я не смог сделать этого сразу, и через пару дней мне снова позвонили по телефону. Мужской голос, представившись, предложил мне заняться одним жилым помещением. Я согласился, потому что оказалось, что он уже знаком с несколькими интерьерами, созданными по моим проектам в Белграде. Он назвал мне адрес, и я чуть не потерял сознание. Объект, в котором предстояло работать, был тот самый дом на улице Кралевича Марка.

— Вы, может быть, помните это здание, — добавил голос, — оно известно как фамильный дом Луки Человича. Там не закончены кое-какие работы, в связи с этим я приглашаю вас от имени заказчика...

Не дожидаясь назначенного дня встречи с заказчиком, я в тот же миг сорвался с места и полетел на улицу Кралевича Марка. Уже издали я увидел изменения, происшедшие с домом Луки Человича. Фасад был покрашен красками цвета «бермета» и шипучего итальянского вина с синеватым оттенком. В витрины магазинов по обе стороны от входа были вставлены витражи. Слева был изображен пейзаж и странные облака. Это была картина на стекле. Облака, густые как мох, зеленые и неподвижные, закрывали небо. На этой стеклянной картине люди во время загородной прогулки, лёжа на траве или откинувшись в своих кабриолетах, наблюдали, как облака оседают на самые высокие деревья...

В полной растерянности я взялся за ручку в виде дамского револьвера XVIII века и спустил курок. Замок щелкнул, и дверь передо мной открылась. Я увидел раздваивающуюся лестницу в стиле барокко и почувствовал запах мокрых козьих рогов. Меня встречал, выказывая свое удивление, курильщик трубки в заплатанной шляпе, вероятно работающий здесь привратником. Не обращая внимания на его крики, я схватился за перила из орехового дерева и со всех ног бросился наверх. Я пробежал мимо кабинета, где покачивалась качалка с седлом, и мимо кухни, напугав там кошку Константину. Меня трясло, и я бормотал себе под нос:

– Этого не может быть. Этого не может быть...

И тут меня с ног до головы облил дождь. Торопясь как можно скорее попасть в спальню, я, чтобы сократить себе дорогу, пробежал через большую ванную комнату, где ещё не кончился дождь, потому что кто-то только что закончил купание. Совершенно мокрый, я остановился в дверях той комнаты, которую не успел обставить во время своей бессонницы. В дверях спальни. Здесь почти не было мебели. Только в глубине комнаты между двумя окнами стоял голубой диванчик.

На нем, поджав под себя ноги, сидела Я. М. Со своими чёрными прядками, с коротко подстриженным затылком, с сережками в виде золотых сигареток. С этой своей улыбкой, которая старше, чем она сама. Как это всегда бывало, я почувствовал под чёрным платьем и блестящими чулками сгусток её тела. И быстроту в неподвижном теле самки. Я встал как громом пораженный и сказал:

– Скажи мне, что это неправда!

– Почему же неправда, если ты мокрый как мышь?

– Но тогда что же это? – спросил я глупо. Я. М. рассмеялась:

– Ты бы хотел получить какое-нибудь объяснение всему этому, да? Но к чему объяснения, если мы снова вместе? Разве любви нужны объяснения? Однако, если тебе так хочется всё узнать, я скажу. Здесь всё неправда. Начиная с дверной ручки на входной двери и кончая стеклянным потолком, ничего в действительности не существует. Всё здесь поддельная бесконечность и сиюминутная вечность.

– А ты? – спросил я срывающимся голосом.

– И я тоже, конечно, не существую.

– Я тебе не верю, – сказал я и сделал шаг в её сторону. Вдохнуть аромат женщины – всё равно что услышать её мысли. Я почувствовал, как пахнут её волосы, но она не шевельнулась. И сказала:

– Это неважно, веришь ты или нет, потому что ты тоже не существуешь.

– Я тоже?

– Ты тоже. Всё это компьютерная игра, и нас сюда загрузила настоящая Я. М.

• • •

ВОЛШЕБНЫЙ ИСТОЧНИК.

(Действие происходит в доме Дмитрия Перовича, Черногорская улица, 8).

– Я не умею смеяться по-городскому, только до правого уха, но все-таки мне хотелось бы уехать в город. Там хороший базар, там можно хорошо продать иконы, – говорил я незнакомцу, который держал в руке лист бумаги. То, что я говорил, было правдой, через мое некрасивое лицо тянулась какая-то фальшивая улыбка. Но и это ещё не всё. К этому некрасивому лицу, из-за которого меня звали Тома Непрекрасный, прилагалось и тело, казавшееся странным как мужскому, так и женскому взгляду, потому что с этим телом что-то было не в порядке. Некоторые люди говорили, что на самом деле именно красота моего тела мешала как следует рассмотреть меня. От нас обоих воняло – от меня столярным клеем и олифой, а от человека рядом со мной плесенью подвала, в котором он ночевал.

Дело было на ярмарке в Бачке. Мы торговались. У него была страница, выданная из одной ветхой книги с какого-то сомборского чердака, на ней изображалась Богородица рядом с «жизненным источником благодати», и он, понимая, что для меня это бесценный образец, предлагал мне её купить. Чтобы уговорить меня, он указывал и на подпись под картиной, из которой следовало, что этот чудотворный источник нарисовал в 1744 году Христофор Жефарович.

– Есть у меня и зеркало, на котором ты можешь нарисовать источник, – добавил он и показал чудесное, почти неповрежденное хрустальное зеркало с отшлифованными краями.

Глаза у меня сверкнули и тут же погасли. Я улыбнулся, продемонстрировав, что действительно не умею смеяться по-городскому.

– Ты его украл, – сказал я ему. – Нельзя рисовать Богородицу на краденом. – И отказался от зеркала. Но вырванный из книги лист взял и взамен предложил ему кое-что такое, что, как я подумал, он не отвергнет. Я предложил ему год жизни.

– Откуда у тебя год моей жизни? – спросил он.

– Бог найдет то, что потеряно. Представь себе покрытый галькой берег Мориша. Повсюду разноцветные камешки. Это жизнь. Но ты среди них можешь распознать одни только синеватые или желтые камни. Остальные для тебя невидимы. Мы, живописцы, можем распознавать и те цвета, которых не видят другие люди. Кроме того, хорошо известно, что живописцы, все без исключения, живут очень долго. А это объясняет одна тайна. Я отдам тебе эту тайну за твою бумагу с нарисованной Богородицей и источником, дарующим жизнь. Один источник жизни в обмен на другой.

– Рассказывай, – сказал он, продолжая, однако, держать бумагу в руках. Хотел сначала услышать тайну.

Тогда я начал:

– Твой сон, дорогой мой, похож на реку, которая течет только ночью, когда ты спишь. В конце жизни эта река твоего сна вольется в море всех снов Вселенной, в море, которое ждет её у устья, в месте её впадения. И вот тут-то ты и должен подстеречь момент, когда во время твоего сна сны останавливаются. Потому что человеческие сны по ночам иногда останавливаются. Сон в такие моменты становится подобен спокойной стоячей воде, и ты тогда можешь научиться плыть вверх по течению сна. Таким образом, каждую такую ночь можно понемногу подниматься против течения своих снов к их источнику и так сберечь немного времени. И в конце концов у тебя окажется на год или два больше, чем ты прожил бы без этого...

Услышав такие слова, он так разинул рот, что, может, и до сих пор не может его закрыть, но лист с картинкой мне так и не дал. Вместо этого он достал из своего мешка кучу шахматных фигур из обожженной глины и потребовал, чтобы я покрасил их в чёрный и белый цвет.

Пока я их красил, он мне сказал:

– Если обратить на это внимание и хорошо натренироваться, можно заметить, что собственные воспоминания имеют вес. И у разных воспоминаний он разный. Те, что тяжелее, старше тебя, и принадлежат они одной из твоих прежних жизней. Так вот, понимаешь, эти наши предыдущие жизни напоминают шахматы в шахматах.

– Что ты имеешь в виду? – спросил я, продолжая раскрашивать фигуры.

– Всё очень просто. Вот ты красишь фигуры и потом сможешь ими сыграть партию в шахматы. Когда ты играешь, ты делаешь ходы. Но ты можешь воспринимать это как игру в шахматы и как собственную жизнь, ты можешь представить себе кого-то, кто делает ходы, переставляя тебя с одного поля на другое. И того, кто может тебя съесть. Но и тот, кто тебя передвигает и кто тебя может съесть, сам тоже будет съеден. Его съест кто-то, кто придумывает его ходы... И так до бесконечности. Это и есть реинкарнация... А теперь отломи голову у той фигуры, которую ты покрасил первой и которая уже высохла, и ты найдешь внутри неё другую, меньшего размера. И её нужно покрасить. Они словно русские матрешки или словно твои предыдущие жизни – более старые охватывают собой тех, что моложе, и так до бесконечности.

И действительно, внутри фигуры оказалась другая, меньшего размера, а в ней ещё меньшая, и я вынужден был красить и красить.

Когда я вручил ему раскрашенные фигуры, он дал мне лист бумаги с волшебным источником, а я, прощаясь, спросил, не посоветует ли он, где мне переночевать в городе. Он сказал, что под мостом через Саву на стороне старой части Белграда есть большой дом с садом.

– Дом полуразрушенный, – добавил он, – но заночевать в нем можно. Только смотри, постарайся лечь спать как можно ближе к выходу. Вот всё, что мне известно, – сказал он и ушёл.

Тогда и я, Тома Непрекрасный, направился в город.

...

Добравшись до города, я перебрался через воду и нашёл в старой части города дом под мостом. На нем был номер с надписью: «Черногорская, 8». Семь окон наверху, а на первом этаже, за железными ставнями, ещё четыре, между ними, в середине, двустворчатая деревянная дверь, которая вела в широкий коридор и дальше, через него, во двор. Там посреди двора стоял стол, на столе тарелка, в тарелке сидела и умывалась кошка... Сад стоял весь зелёный, хотя из-за того, что он был под мостом, дождь на него почти не попадал. Вдоль коридора с каждой стороны было по восемь комнат, но те, что с левой стороны, оказались под замком, а правые – нет. И в них жили какие-то чёрные, корявые и словно состарившиеся мальчики. А где-то, непонятно где, но точно в доме, слышался чей-то плач.

– Кем вам приходится тот, что плачет? – спросил я.

– Это наша королева, – ответил один из этих маленьких, корявых и чёрных.

Похожими на это здание были монастырские дома для умирающих и разные благотворительные заведения для бедняков в Царьграде, под такими названиями, как «Всемогущий Христос» или «Аталиат Святого Михаила». Я знал это, потому что однажды перерисовывал их из книги...

Комнатенку я себе выбрал возле самой входной двери, за ней, в глубине, стояла плита на колесиках. Огромная как крепость. Через окно была выведена труба в несколько колен. Это хорошо, подумал я, можно растопить, чтобы подогреть столярный клей. Тут я увидел, что на стене углём написано: «дом Димитрия Перовича».

Наутро я купил на последние деньги чеснока и зеркало, правда не совсем гладкое, с небольшой дырочкой в одном углу, развернул лист бумаги с Богородицей и животворным источником, изображенными Жефаровичем, и начал перерисовывать их на зеркало, обдумывая при этом, каким цветом что украсить, потому что на оригинале цвета не было, просто kupferstich, гравюра на медной доске... Чтобы всё подготовить, мне потребовалось пять дней, после чего я развел огонь, поставил на плиту всё, что нужно, подошёл к окну, что смотрит во двор, глянул и ужаснулся. Из соседнего окна высовывалась лошадиная морда. Это был вороной с выбритыми ушами, покрашенными в красный цвет. Уставился прямо на меня и фыркает. Это ему дым мешал... Уже позже я узнал, что и в некоторых других помещениях вместе с людьми живут кони.

Однажды утром, прозрачным словно слеза, я уселся в своей каморке на пол, положил продырявленное зеркало с нанесенным рисунком на единственный стул, который у меня был, перекрестился и начал наносить краски на икону Богородицы над чудотворным источником. Чтобы изобразить облака, я нанес на поверхность зеркала известку, смешав её в ракушке с небольшим количеством яичного желтка, небо раскрасил порошковым кобальтом, который приготовил в другой ракушке. Для одежды ангела использовал немного натертого лазурита с картофельным крахмалом. По краям провел линии

обгоревшей еловой веткой. Самые дорогие вещества я оставил для Богородицы и её Младенца. Исполненный трепета и любви, я раскрасил одежды Богородицы суриком, а для рубашечки Христа воспользовался пластинкой венского сусального золота, которую закрепил, смазав сверху смесью чесночного сока и тернового клея...

И только я хотел приступить к раскрашиванию чудотворного источника, как с грохотом раскрылась дверь и в дом верхом на белом коне въехали мужчина и женщина. Она была молода и светловолоса, а он стар и одет в неподпоясанную рубаху. За ними ввалилась толпа шумных парней, они пооткрывали все до сих пор закрытые двери по другой стороне коридора, затопили печи, потянуло запахом яичницы с луком, а белый конь бесцеремонно вломился в ближайшее ко мне помещение, из которого визжа выскочил во двор один из его обитателей. Тут кто-то из наших толкнул в сторону коня плиту на колесиках со стоявшей на ней огромной кастрюлей горячего овощного супа, и он, ошпаренный, выскочил в сад.

– Кто это такие? – в ужасе спросил я у одного из моих соседей.

– Это «светловолосые» и их король с королевой, – ответил он. – Теперь здесь мира не жди. Они захотят устроиться в нашей части дома. И это ещё не самое страшное. Их королева заморозит всех нас, и мы от страха или от страсти будем думать только о ней. Уже сейчас все прислушиваются к тому, как её тяжелые ресницы касаются щек.

Я хотел рассмеяться, но не умел по-городскому, только до одного уха, поэтому не решился.

– Эй, там внизу, тихо! – раздался женский голос, и с верхнего этажа спустилась, вся в белых кружевах, светловолосая королева. Она подошла к нашей плите, остановившейся в конце коридора, и одним легким движением ноги, обутой в туфлю из зеленой кожи, толкнула её. А так как плита была на колесиках, она скатилась по трем ступенькам и, опрокинувшись, продолжала дымить в саду.

Так в доме под мостом установился новый порядок и новый беспорядок. В промежутках между стычками я спешно заканчивал раскраску иконы с животворящим источником. Сначала я очертил его контуры жирными линиями, используя для этого обгоревшую сухую виноградную лозу. Таким образом стал ясно виден самый высокий, поднебесный водоем, один из трех, через которые каскадом стекала вода, затем средний, более крупный и расположенный ниже, и, наконец, самый большой, в который исцеляющая и животворная вода попадала из двух верхних. Башни и замки на заднем плане я раскрасил смесью глины и пшеничного крахмала, а луг вокруг источника – окисью меди. И всё это я делал, думая только об одном – о той красавице, шаги которой звучали у меня над головой, на верхнем этаже. Она ходила то крест-накрест, то по диагонали. По её походке я мог с точностью представить себе её удлиненные члены и всё опасное тело. От её шагов на икону, которую я писал, с потолка сыпалась побелка. И только я с помощью марганцовки рассыпал по лугу на стекле цветы, как в доме опять поднялась буча. Светловолосые медленно, но верно захватывали наши комнаты. Всё больше наших вынуждены были искать себе приют в саду под мостом или на улице.

Стараясь не обращать внимание на грохот и перебранку, я тщательно очерчивал сажей от сгоревшей скорлупы грецких орехов каждую человеческую фигуру – королей, королев, их белые и чёрные дворцы, череду жаждущих исцеления калек и убогих, направляющихся к чудотворному источнику. Я обмакивал кисточку то в одну, то в другую ракушку, используя все имевшиеся у меня краски, стараясь, чтобы одежда выглядела как можно ярче и пестрее. Всё это я делал, не упуская из виду главного – не тронуть место, оставленное для воды. Я оставил не покрашенными некоторые участки зеркала, чтобы они создавали впечатление воды. Широкие струи, ниспадавшие из самого высокого водоема в средний, и ещё более широкие, изливавшиеся в нижнее озерцо, сверкали сами собой, и тот, кто смотрел на икону, мог в источнике, дарующем жизнь, увидеть собственное лицо. Мог отразиться в целебной воде и излечиться, умывшись его волшебной влагой... Одним словом, оставалось совсем немного работы, надо было только привести в должное состояние углы зеркала, и после этого я мог считать икону законченной и вынести её на улицу, чтобы продать, и бежать подальше от дома под мостом... Но работа, как назло, двигалась медленно. Я больше думал о светловолосой королеве, чем о покрытом красками зеркале.

Как-то ночью, пока я, отдыхая от рисования, при свете свечи заканчивал работу над рамкой иконы – она была деревянной, черной, с красной полосой, – я вдруг услышал, что у меня за спиной что-то происходит. Я оглянулся и ужаснулся. В дверях стояла белая королева. Рот её напоминал персик с ягодой земляники внутри вместо косточки, а глаза были так прекрасны, словно она взяла их взаймы. Свой аромат она уже устремила в мою сторону, но её быстрый слух ловил нечто бескрайне далекое. Именно по этому, по этой её раздвоенности, я понял, что она больна.

В этот миг она подошла ко мне и поцеловала, наполнив сладкой слюной всю мою фальшивую улыбку.

– Я хочу, чтобы ты овладел мной, – сказала она и отбросила в сторону свой пояс.

Я остолбенел.

– Но не здесь, не перед иконой, – ответил я.

– Неужели ты думаешь, что у меня не наберется сколько угодно таких, как ты? Я пришла именно из-за иконы, а не из-за тебя, оборванец несчастный. Я хочу посмотреть в волшебное зеркало, пока мы будем ласкать друг друга... Тут я шепнул ей такое, от чего её рот остался открытым.

– Как так? Разве это не волшебная икона? – воскликнула она.

– Нет, пока я её не закончу и не освящу в церкви. Тут светловолосая королева рухнула на пол и расплакалась.

– Я обманула тебя, – сказала она сквозь слезы, которые заполняли её рот и делали соленым язык, тот самый язык, похожий на землянику. – Ничего мне не надо, – добавила она, – я больна, больна от любви, я хочу исцелиться.

– Знаю, – ответил я, и это было правдой. А мое желание стало ещё более страстным. Я чувствовал, что женщины наслаждаются любовью гораздо меньше, чем обычно считается. И если они попытаются оценить наслаждение, получаемое ими от любви, по десятибалльной системе, как это делается на экзаменах в школе, то всё, что ниже шести, не стоит даже упоминания. Такие ощущения не получают проходного балла. Пятерка для женщины просто болезнь. И если всё сложить, так оно и получится. Всё, что получили, потеряют, а то, что потеряют, никогда больше не получат... Так я думал.

В сущности, во мне не на жизнь, а на смерть боролись две женщины – Богородица и светловолосая королева. Это была борьба за мою жизнь и за мою смерть.

В тот же день я поспешно завершил икону на зеркале с целебным источником Богородицы, освятил её в церкви и подарил светловолосой королеве. Пусть делает перед ней всё, что хочет, но только не со мной. Пусть они обе обсудят это друг с другом. А я пешком вернулся сюда, в Бачку. По дороге, в Перлезе, в храме Святого Николая я дал обет каждый день отстоять службу в новой церкви. Это паломничество продолжается по сей день.

• • •

(Действие происходит в доме братьев Крсманович, улица Карагеоргия, 59).

– Привет, – сказала она, проходя через монастырские ворота в вязаной шапке, натянутой до самых бровей. Она смотрела на меня через овечью шерсть.

– Да вложит Бог в твое сердце желания, которые исполнятся, а в уста молитву, которая будет услышана... – ответила я.

– Ты грамотная?

– Здесь, в монастыре, мы все грамотные.

– Извини, я не это имела в виду. Можешь ты для меня кое-что составить, только толково, а не тят-ляп?

– А что бы ты хотела, деточка, чтобы я тебе составила?

– Житие. Типа того, как в церкви читают. Мария Египетская, Феоктиста из Пароса, ну что-нибудь в таком роде. Знаешь, есть одна женская военная песня: «От Урала до Кавказа я давала без отказа...» Ну так я из таких. И хочу, чтобы ты составила мое житие. Или как это у вас здесь называется?

– Боже, спаси и сохрани...

– Бог здесь ни причем. У него, может, во всем этом и есть какие-то расчеты, а у нас с тобой никаких – кроме денежных. Я тебе буду рассказывать, ты записывать, а потом составишь все, как полагается, а я тебе заплачу. Тебе или монастырю. Мне всё равно. Чистый воздух – долгая любовь...

– Может, ты хочешь исповедаться, дитя мое?

– Не хочу. Но тебе я скажу, что я боюсь, боюсь тех крайне странных разговоров, которые уже некоторое время происходят между мной и двумя мужчинами. Каждую ночь, с перерывами на день. Это у нас тянется как роман с продолжением, из номера в номер.

– И ты боишься чего-то, связанного с этими разговорами?

– И ты бы боялась. Я бездетна и никак не могу зачать, хотя очень хочу, а они мне обещают искусственное оплодотворение. Да ещё готовы за всё платить вместо меня...

И тут, в тот самый момент, когда я уже решила отрясти прах со своей обуви и оставить посетительницу на улице одну, когда я потянулась рукой к дверной ручке, чтобы войти в монастырский постоялый двор, ручка исчезла. Остался только ключ в замочной скважине. Он сам собой повернулся два раза и тем самым закрыл входную дверь. Тогда я обернулась к девушке, которая по-прежнему стояла перед церковью, и спросила ее:

– Как твое имя, дитя мое?

– Я тебе не дитя. А зовут меня Даласена. Порядком напуганная и ею, и историей с дверной ручкой и ключом, я сказала:

– Книги когда-то были очень дороги. Из-за пергамента. Когда-то для того, чтобы переписать Дамаскина, «Законник царя Душана» или сочинение Порфирогенета, нужно было зарезать целое стадо овец, если считать, что из каждого животного получается четыре листа *in folio*... Сегодня это уже не так. Никакого вреда не будет, если я запишу все, что ты расскажешь...

Вот так получилось, что Даласена стала через день приходить в наш монастырь Преображения и рассказывать мне свою жизнь. Она рассказывала, а я записывала в тетрадь, которая пахла соломенным тюфяком и шпинатом с бараниной, потому что я листала её после ужина.

ЖИТИЕ БАРЫШНИ ДАЛАСЕНЫ

Барышня Даласена родилась в городе, стоящем над двумя реками, у добрых и набожных родителей, которых она, не имея ничего лучшего, полюбила... ещё

в детстве, в пять лет, она стала заглядываться на одного ровесника. Любовь была взаимной, и им не терпелось дожидаться, когда они вырастут и когда, как они надеялись, не только их души, но и тела найдут дорогу друг к другу. Но когда они достигли такого возраста, произошло нечто страшное. Она превратилась в стройную, сильную красавицу с большой грудью, похожую на освященный плод, а он покрылся прыщами, остался безбородым и начал расти вширь. Он начал походить на кого-то другого, на кого раньше не походил. Такого она любить не могла. Когда он в первый раз захотел её поцеловать, она залепила ему пощёчину и сказала, что он обманул её и украл у неё самое драгоценное из всего, что было в её жизни. Так они расстались, и она последовала за своим телом...

Короче говоря, Даласена легко рассказала мне всю свою жизнь, в которой не было ничего особенного, за исключением страстного желания иметь ребенка, которого она иметь не могла, и нескольких недель жизни, которые текли не вперед, а назад. Словом, она была самой обычной студенткой, обыкновенной молодой девушкой, вот только в её рассказе да и в монастыре в те недели, пока она к нам ходила, всё словно чуть-чуть колебалось, будто что-то мешало времени свободно перетекать из одного дня в другой. В один из таких дней, к примеру, до полудня была среда, а после полудня уже четверг, причем праздничный – день святого пророка Илии.

– Не бойся, – сказала она, словно догадавшись, о чем я думаю, – у вас здесь иногда воскресенье, переодетое в среду, поджидает четверг...

Со страхом в сердце и бараниной в животе записывала я её жизнь, боясь Даласены всё больше и больше, потому что я, видимо, чувствовала, что каким-то необъяснимым и волшебным образом и я, и всё, что меня окружало, зависело от этой девушки.

Что же касается разговоров Даласены с теми двумя мужчинами, они действительно продолжались из вечера в вечер, как она и сказала вначале. Это были мучительные и какие-то призрачные переговоры. Главным их содержанием было искусственное оплодотворение. А началось всё вот как. Одна из подруг дала Даласене номер телефона какого-то «Универсального научного общества по изучению новых явлений», и Даласена туда позвонила. С неё потребовали массу разных данных, и потом она отправилась на первую встречу – на улицу Карагеоргия, 59. Это старое двухэтажное здание, построенное в 1890 году и в свое время принадлежавшее братьям Крсманович, торговцам. Сейчас этот дом был довольно запущенным, и именно здесь, на верхнем этаже, через день происходили вечерние встречи. Первое «продолжение» разговора, которое она могла вспомнить, звучало так, как записано в моей тетради:

НАЧАЛО РАЗГОВОРА В ДОМЕ НОМЕР 59 НА УЛИЦЕ КАРАГЕОРГИЯ

Однажды вечером, когда хозяина не было в Белграде, в дом 59 по улице Карагеоргия наведались посетители. У них был ключ, оставленный им хозяином дома, и они сидели в одной из комнат перед камином, в котором потрескивали дубовые и сливовые поленья. Их было трое. Два господина в темных костюмах, один из которых за весь вечер не проронил ни слова, и барышня Даласена. Господин помоложе обращался к ней тихим решительным голосом. Его носки, как было видно по их рисунку, вязали специально для правой и для левой ноги. В самом начале разговора он сообщил, что Даласена приглашена на встречу как одна из тех, кто обратился в «Универсальное научное общество по изучению новых явлений» с просьбой обеспечить им искусственное оплодотворение. Кроме того, он подчеркнул, что в любой момент она может отказаться от участия в том, что ей предложат, однако попросил сначала выслушать его до конца, ввиду того что оплодотворение, о котором идет речь, представляет собой совершенно особый процесс. Для большей ясности он разбил свое выступление на несколько разделов. Сначала он рассказал о научном открытии, благодаря которому они смогли собраться.

ПЛАЗМА L.

Недавно обнаружено, что кроме человеческой спермы на Земле существует ещё один вид семени, не имеющий человеческого, животного или растительного происхождения. Для того чтобы потом не путаться, назовем его, например, Плазма L. Мы не знаем, присутствует ли она на Земле давно или же, что гораздо вероятнее, появилась только недавно.

– И ты считаешь, что я самое подходящее место, чтобы бросить кости и выиграть? Откуда это чудо взялось? – из полумрака подала голос барышня Даласена.

– Наиболее вероятной представляется гипотеза, что семя жизни попало на Землю из космоса. То же самое, видимо, можно сказать и о Плазме L. Однако оплодотворение

Плазмой L. гораздо сложнее или, точнее говоря, весьма отличается от того способа, каким размножаются существа на Земле.

ОТЕЦ

– Наше «Универсальное научное общество по изучению новых явлений» располагает компьютером с вашим именем и, кроме того, ещё пятью компьютерами, которые носят другие имена: Ганнибал, Байт, Абрахам – и имена хозяев этого дома, который сегодня вечером оказал нам гостеприимство, речь идет о госпоже Исидоре и господине Лисинском. Эти компьютеры, так же как и ваш, загружены тоннами данных о физических и психических особенностях этих лиц. Некоторым, очень сложным, образом все эти лица являются отцом будущего плода.

– И все они должны делать мне ребенка? Включая женщину? А ты, приятель, можешь своей левой ногой разуть свою же правую? – высказалась из темноты Даласена и запела:

Камень живой мне верно служил,

Он мне и мертвой послужит...

– Что это значит, уважаемая Даласена? – растерянно спросил человек в вечернем костюме.

– Это эпитафия тому ребенку, о котором ты говоришь. Меня всё это больше не касается. Прощайте, парни, я удаляюсь...

– Не надо так нервничать, Даласена. Все эти люди просто носители Плазмы L. Вы будете иметь дело только с одним из них, с господином Лисинским. Здесь, в этом доме. В его доме. Остальных вы даже не увидите. В том числе и его супругу, госпожу Исидору. Она живёт в отдельном домике, во дворе, из него видны только ступеньки у входа в дом, где мы находимся. Естественно, всё дело тщательнейшим образом скрывается от госпожи Исидоры, потому что её ревность могла бы всё испортить.

ПЕРЕНОС ПЛАЗМЫ L.

Оплодотворение Плазмой L. в некоторых деталях происходит совсем не так, как мы могли бы ожидать. Госпожа Исидора может, например, перенести Плазму L. своему мужу или кому-то из своих любовников, так же как может и сама принять семя. Но это ещё вовсе не оплодотворение. Это всего лишь перенос Плазмы L., в котором обязательно должен наряду с мужчинами участвовать и один переносчик женского пола, однако это не вы, уважаемая Даласена. Вы не переносчик, вы будущая мать. Это вещество может

превратиться в способное к оплодотворению семя только тогда, когда пройдет через тела уже упоминавшихся выше пяти посредников. Четырех мужчин и одной женщины. Причем через тело одного из посредников дважды, с необходимым временным интервалом, в начале и в конце процесса. Кроме того, Плазма L. должна известное время побыть в организме каждого переносчика. Всё это нам удалось определенным образом рассчитать, и мы в состоянии обеспечить правильный ритм всей операции.

СРОК И УСЛОВИЯ ОПОЛОДОТВОРЕНИЯ

Имеется, однако, и ещё одно чрезвычайно сложное условие успешного проведения всей операции. В момент передачи или приема Плазмы L. каждое из пяти задействованных лиц должно находиться в определенной фазе, которую можно точно определить с помощью астрологии и которая имеет установленное имя. Это транзит, обозначаемый именем «Мне неясно, что на самом деле происходит». Такая транзитная фаза длится приблизительно три месяца. Супруги Лисинские отправились в путешествие именно сейчас потому, что наши компьютеры составили карты благоприятных для зачатия или, лучше сказать, «активных» дней для всех пяти уже упоминавшихся лиц, которые вошли на высчитанных таким образом условиях в процесс переноса Плазмы L. Только одно из этих пяти лиц знает, о чем на самом деле идет речь. Это первый и последний «переносчик» Плазмы L. – господин Лисински. Он вернется из поездки как раз в то время, когда и вы, уважаемая Даласена, войдете в транзитную фазу под названием «Мне неясно, что на самом деле происходит». Таким образом, оплодотворение будет осуществлено самым благоприятным способом, то есть именно в тот момент, когда транзитная фаза Лисинского под названным нами именем исчезает, а ваша возникает. Он с Юкатана принесет для вас семя, которое прошло через пять человеческих тел. Здесь, в этом доме, вы проведете с ним одну или две ночи. Вот и всё.

– Нет, не всё. Я думаю, ты и сам не веришь во всё эти байки.

– Вы правы. Это действительно не всё. Есть ещё один момент, рискованный для всей операции ещё в пятом веке врачи знали, что судьба плода зависит от того, зачат ли он в «горячем или холодном настроении». Это важно и в нашем случае. Если оценить силу наслаждения от полового сношения по десятибалльной системе, то можно предсказать, будет оплодотворение удачным или нет. Успешный перенос Плазмы L. и, соответственно, успешное оплодотворение может иметь место только в том случае, если оценка степени наслаждения составит более семи баллов. Если она ниже, переноса и, следовательно, оплодотворения не произойдет. Поэтому компьютеры запланировали несколько эротических встреч между лицами, о которых я вам говорил, и поэтому же им не сообщается, в решении какой проблемы они участвуют. Всё должно выглядеть совершенно естественно...

– Ещё не хватало, оценки какие-то выдумали! Мы что, в школе? Может, прикажете пуговицы от его штанов съесть, чтобы он доволен остался?

– Но речь идет не о нем. В данном случае оценивается наслаждение, которое испытаете вы, барышня Даласена...

...

Здесь мне придется прервать мои записи, связанные с «житием» барышни Даласены. Причина этого чрезвычайно проста, но она привела к невероятному повороту во всём деле. Однажды утром она влетела ко мне в страшном возбуждении:

– Как ты думаешь, они действительно могут меня оплодотворить?

– Не знаю... Будущее – вещь странная. Наше знание будущего уничтожает его, и оно перестает быть будущим, – ответила я ей. – Будущее расплетается в наши жизни так же, как может расплестись веревка... Но я больше чем уверена, что любое будущее страстно жаждет, чтобы человек воспользовался своим шансом... Однако, если ты позволишь, я бы хотела у тебя кое-что узнать.

– Спрашивай.

– Ты уверена, что эти двое действительно существуют, а не снятся тебе каждый вечер?

– То есть что значит «снятся»? – растерянно ответила Даласена. – Ущипни себя за ухо, сестрица, но это же ты мне снишься каждый вечер. Вот сейчас, когда мы об этом говорим и когда ты пишешь. Это сон. А не то. Сон – это ты, неужели не понимаешь? Надо же, сколько во снах глупцов, просто неслыханно! Ты и твои записи и всё, что тебя окружает, включая и сам монастырь Преображения, – всё это мой сон. Если не веришь, давай устроим небольшую проверку, – добавила она. – Вот скажи, ты умеешь смеяться? Не умеешь, я это уже заметила. А знаешь почему? Потому что в моих снах никто не умеет смеяться. Во снах смеха не бывает. Поэтому и ты не смеешься... Если ты мне по-прежнему не веришь, посмотри на эту икону Богородицы, которая нарисована на зеркале и на которой Она благословляет волшебный источник. Воду источника живописец не тронул краской, он оставил здесь зеркало, это видно. Попробуй посмотреть на свое отражение в этой воде. Ты увидишь, что в зеркале у тебя нет головы...

Я глянула в зеркало иконы и ужаснулась.

– Ну, есть там у тебя голова?

– Нету, – ответила я, окаменев.

– Это потому, что сны в зеркале не отражаются. А ты мой сон.

Вот что говорила барышня Даласена. Тут я вспомнила, как в первый день, когда, желая уйти от неё и открыть дверь монастырского постоянного двора, я не смогла сделать этого, потому что на ней не было дверной ручки. Теперь мне стало ясно, что эта дверь была не только дверью гостиницы, но и дверью сна, из которого я не могла выбраться наружу ни тогда, ни сейчас.

Поэтому я сказала барышне Даласене:

– Мне страшно. А вдруг они через вас оплодотворят и меня? Возможно ли зачать ребенка во сне?

– А ты бы хотела? – спросила барышня Даласена. – Как могут женщины, которым за миллион лет, заиметь ребенка?

– Кому же это за миллион лет?

– Тебе, вот кому. Все привидения в снах стары так же, как стара человеческая улыбка.

Тут я брякнула:

– Но смех же старше человека!

– Да пошло оно всё на х... – ответила на это Даласена и предложила мне: – Закрывай-ка ты, моя дорогая, свою тетрадь, время сделать перерыв. Хватит писанины. Мне пора просыпаться и идти на следующую встречу, а что будет с тобой, так это как Бог даст.

...

Мы оба, являясь членами специальной комиссии и в качестве уполномоченных на то лиц, представляем «Универсальному научному обществу по изучению новых явлений» заключительный отчет о проекте «Даласена». Барышня Даласена явилась на предпоследнюю встречу в дом 59 по улице Карагеоргия в назначенное время, и ею был задан ключевой вопрос всего проекта:

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НОВОРОЖДЕННЫЙ?

– Разумеется, мы ждали от вас этого вопроса, и вы имеете полное право получить на него ответ прежде, чем согласитесь на наше предложение, – сказали мы ей. – Насколько мы знаем, ребенок будет выглядеть точно так же, как и любой другой новорожденный, однако все его органы, в том числе и органы чувств, и его члены будут иметь совершенно иное назначение, чем у остальных людей. Например, в каждом его глазу будет по три зрачка. Свой взгляд он или она сможет послать в любой конец Вселенной со скоростью, превышающей скорость света... Поэтически выражаясь, можно сказать:

Один зрачок зрит время, вечность зрит второй, а третий видит то, что за углом...

Эти слова вызвали у барышни Даласены тревогу, и она задала мне вопрос:

– Ты что, хочешь, чтоб я родила уроды? Говори, если я соглашусь, мой ребенок будет похож на меня? Или хотя бы на своих отцов? Или на отца-женщину?

– Ответить на этот вопрос трудно. Он не будет похож на вас. Или на них. Вы начнете походить на своего ребенка с того момента, когда произойдет оплодотворение. Это так, и с этим вам придется смириться...

...

Однажды вечером, когда звезды барышни Даласены вошли в транзит «Мне неясно, что на самом деле происходит», она позвонила в дом номер 59 по улице Карагеоргия. В доме её ждал господин Лисински, ужин и приготовленная постель, а в небольшом здании во дворе – его жена Исидора с заряженным револьвером. Такую опасность мы, разумеется, предполагали, однако нам пришлось пойти на риск и положиться на то, что барышня Даласена выкрутится из этой ситуации сама.

Выходя из дома около полуночи, Даласена думала примерно следующее: «Ну если это не чистая девятка, то не знаю, что делают в постели другие женщины и куда они суют эту штуковину, для того чтобы заслужить лучшую оценку...»

В это время в маленьком домике из темноты прихожей за любовницей своего мужа наблюдала госпожа Исидора, готовясь выстрелить в неё через стеклянную дверь, разделявшую лестницы двух этих зданий. Но она не выстрелила, потому что окаменела от изумления. Спускаясь по освещённым ступеням дома 59 по улице Карагеоргия, барышня Даласена повернула голову и через эту самую стеклянную дверь посмотрела прямо в отверстие ствола револьвера, – другими словами, прямо на госпожу Исидору Лисински. В каждом глазу у Даласены было не по одному зрачку, а по три, так что глаз напоминал пуговицу с тремя дырочками. И эти глаза прекрасно видели сквозь ночь и госпожу Исидору, и пулю калибра 6.35 в стволе её револьвера. К легкому удивлению их хозяйки, они видели, под платьем у госпожи Исидоры, в темноте её груди два прозрачных соска. Барышня Даласена приветствовала госпожу Лисински кивком головы и лёгкой походкой зашагала в полночь улицы Карагеоргия.

Она не вполне ясно понимала, что именно происходит на самом деле, но мрак для неё больше не существовал. Нам, однако, всё было ясно. Теперь из неё смотрело её дитя.

.. ..

(Действие происходит в домах Теодора Милишича и торговца Николича, улица Карагеоргия, 42 и 44).

ДВА ПИСЬМА

Мне часто случается получать письма от незнакомых людей. Так вышло и в этот четверг. За одно утро я получил два таких письма, оба с приглашением на ужин. Причем время и день в них совпадали. Вот как звучало одно из них:

Любовь моя, какая большая любовь не сталкивалась с непреодолимыми трудностями?

В моих снах сейчас снова осень и ночь, а после тебя осталось немного невыметенных теней и запахов фруктов. Ожидая тебя, я убрала в комнате и украсила её цветами, причесалась гребнем из козьего рога, но мои сны остались в беспорядке, а мои волосы во сне растрепаны, и нет там цветов, которые пахли бы явью, но цвели во сне, и нет гребня, который может причесать и тебя, и меня...

В зеркалах я вволю отоспалась в спальнях и накупалась в ваннных комнатах. Сейчас мне хочется вон из них, хочется в жизнь.

Сегодня вечером, как только засветится циферблат часов на Соборной церкви, я буду ждать тебя на маленьком городском рынке. Приходи ещё раз посмотреть на свою былую любовь. Я жажду тебя так же страстно, как живой земли, которая может родить человека. Окружи меня любовью и милостью своею: в каждом уголке уст моих горькая слеза учит о чистой небесной слезе, которая лечит. Подумай, что это, возможно, последняя наша встреча перед страшным концом.

Тебя зовет та, судьбу которой скроил ты.

Твоя В. М.

P.S. На Савском склоне есть два красивых дома конца позапрошлого века. Один из них называют «Дом, выкрашенный чаем». Он расположен на улице Карагеоргия, под номером 44. Там, в «Доме, выкрашенном чаем», я буду ждать тебя на ужин. Если ты получишь приглашение из соседнего дома, под номером 42, того, который называют «Голубым домом», заклинаю тебя, отдай предпочтение моему предложению.

...

Вот так звучало одно из тех двух писем, которые я получил в тот день от неизвестных отправителей. Второе представляло собой крайне краткое приглашение на ужин в тот же вечер, правда по другому адресу – предлагалось прийти в «Голубой дом» (Карагеоргия, 42). Совершенно очевидно, что именно об этом приглашении и говорилось в первом письме. Второе письмо было тоже подписано инициалами – д-р И. С. «Я свою душу не на помойке нашёл, – было первое, что я подумал, – зачем мне собственными ногами идти неизвестно к кому, кто не хочет назвать своего имени?»

Но потом я снова вернулся к письмам. И должен признаться, что некоторые фрагменты фраз звучали знакомо... Мне показалось, что второе приглашение, за подписью д-р И. С., написано мужчиной, а первое, звавшее на ужин в «Дом, выкрашенный чаем», было, конечно же, самым настоящим любовным письмом от какой-то женщины. Тут я вспомнил одно изречение насчет того, что когда человеку в годах предлагают любовь, то это всегда подарок, на который он не вправе был бы рассчитывать. И я решил навести справки об этих домах.

Итак, речь шла о двух красивых, но плохо содержавшихся зданиях, стоявших вплотную друг к другу на побережье Савы. Оба были построены в конце XIX века, один некогда принадлежал торговцу по фамилии Николич, и над его крышей возвышалось некое подобие купола, второй, с магазинчиками на первом этаже и квартирами на втором, был собственностью некоего Теодора Милишича. И в том, и в другом доме верхний этаж был заперт на ключ, и на попытки до кого-нибудь докричаться отвечала тишина. Соседи рассказали мне, что наверху была дубовая дверь, соединявшая оба здания. Вот всё, что мне удалось узнать.

Между тем, когда я снова принялся рассматривать письма, я заметил ещё кое-что – в них была использована моя манера расставлять знаки препинания. Это заинтриговало меня ещё больше, я заколол галстук булавкой с зеленым камнем, предохранявшим от сглаза, и решил принять оба приглашения. Проверил, хорошо ли помню заклинание, тоже от злых сил, которое действует уже за счет того, что его помнишь, переложил его из дальнего кармана памяти в ближний и отправился в назначенное место. Дома стоят рядом, так что установить, кто меня куда зовет, будет нетрудно, подумал я, однако, спустившись на улицу Карагеоргия, оказался перед дилеммой: куда идти сначала – в «Голубой дом» или в «Дом, выкрашенный чаем»? В конечном счете это безразлично, подумал я, держась одной рукой за иглу в галстук. А дома эти были словно две сестры, ночью краше, чем днем. Они купались в лунном свете, наполненные скрипом дверей, стуком оконных рам, потрескиванием половиц и таинственными вздохами и шепотами, которые вдохнули в них плотники, строившие их ещё в 1890 году. И тут вдруг в окнах зажегся свет. Сначала в одном блеснул жёлтый, потом в другом голубой, и этот голубой свет в окнах верхнего этажа показался мне двухслойным.

«Мужской и женский голубой», – подумал я и решил войти.

• • •

(Улица Карагеоргия, 44)

Когда я вошёл в просторное помещение на первом этаже «Дома, выкрашенного чаем», посредине я увидел сверкающий накрытый стол и за ним трех красивых молодых женщин. У одной лицо было цвета миндального ореха, у другой – цвета ядра миндального ореха, а губы третьей были, как в стихах, похожи на

раздавленную вишню. Все три были мне совершенно незнакомы...

На стенах я заметил несколько написанных маслом старинных картин в чёрных голландских рамах. На самой большой была изображена «заикающаяся девушка» а на двух поменьше – «зевающий господин» и «старуха, которая не может прекратить икать». В углу стоял рояль на колесиках, с оглоблями, словно это фиакр, только без лошади. Напротив рояля висела писанная на зеркале икона. На ней были изображены Богородица и Христос, благословляющие волшебный, животворящий источник. Вода его сверкала, как настоящая, потому что кисть живописца не тронула зеркальную поверхность стекла. Рядом с иконой была та самая дубовая дверь, которая вела в соседний «Голубой дом».

– Наконец-то! – воскликнули в один голос все три дамы и поднялись со своих мест, приветствуя меня, при том что ни одна из них не подала мне руки, словно опасаясь прикоснуться ко мне. Мы все расселись за столом, служанка, одетая в белое, внесла в комнату поднос, на котором под стеклянным колпаком лежала колода карт. Сидевшая рядом со мной женщина, у которой из-за манжеты выглядывал платочек с монограммой «А», вышитой в виде еврейской буквы «алеф», взяла карты, сняла и протянула колоду мне, предупредив, что брать следует только три. По три карты взяли и все остальные. После этого служанка собрала взятые карты, и я заметил, что, проходя мимо окна, она украдкой вытерла занавеской свое потное лицо...

– Вы знаете, зачем нужны эти карты? – спросила меня дама, сидевшая справа.

– Я тебе расскажу, – вмешалась та, у которой был платок с монограммой. – Эти карты выполняют роль меню. Вытащив три карты, ты выбираешь, что тебе подадут на ужин. Каждой карте соответствует одно блюдо.

– Однако я вижу, ты нас не узнал, – продолжала щебетать она, – впрочем, ничего удивительного, ты и тогда не обращал на нас особого внимания, ты нас забыл ещё в прошлом веке.

– По правде говоря, в двадцать первом веке я чувствую себя не самым лучшим образом. Может, поэтому...

– Я помогу тебе вспомнить, кто мы, – проговорила она в ответ... – «Вечером, заснув, мы все превращаемся в актеров и выходим играть свою роль всякий раз на новую сцену. А днем? Днем, наяву, мы разучиваем эту роль... А ты, ты тот, кто приходит в зрительный зал смотреть наш спектакль, а вовсе не играть в нем». – Произнеся этот текст, красавица

вперила в меня взгляд и спросила: – Итак, ты не узнал меня? Нет? А когда-то ты так меня любил.

– Главная особенность всех нас, живущих в двадцать первом веке, – это то, что мы забываем всё, что было в прошлом, двадцатом. Душа наша стала короткой и неясной.

– Но те слова, которые я сказала, неужели ты и их не помнишь?

– Нет, – ответил я.

– Это же твои слова, их сочинил ты, а я им научилась от тебя. Я – принцесса Атех, героиня твоей книги «Хазарский словарь».

Мне стало стыдно, и я более внимательно всмотрелся в свою соседку по столу. Она была стройна, немного выше меня ростом, с крупными глазами, один из которых был зеленым, а другой фиолетовым. Но это ещё не всё, её зелёный глаз, как мне показалось, видел мир и меня быстрее, чем фиолетовый. Я готов был даже поклясться, что её зелёный глаз видел мир на мгновение вперед по сравнению с нашим «сейчас», а фиолетовый – на мгновение позже. Он отставал от зеленого глаза ровно на это «сейчас». Поняв это, я разволновался, потому что если фиолетовый глаз принцессы отставал от настоящего, а зелёный был устремлен в лежащее перед ней будущее, то видеть меня принцесса не могла вовсе, ведь я-то обитал как раз в настоящем. То есть она могла видеть только какого-то «другого» меня. И было ясно, что она меня видит. Кого же она видела, глядя на меня, и кто сидел рядом с ней в «Доме, выкрашенном чаем»?

– Против сглаза? – спросила она, не отводя взгляда от моей иглы с зеленым камнем. При этом её фиолетовый глаз был слегка прижмурен.

– А дама рядом с вами? – спросил я, не отвечая на вопрос. – Кто она?

Та дама, о которой я спрашивал, расточала вокруг себя весьма приятный, но настолько сильный запах, напоминавший мускус, что казалось, она заключена в какой-то ароматический шар... Не говоря ни слова, она начала выкладывать на стол из своей сумочки какие-то предметы, которые оказались разноцветными и очень красивыми женскими гребнями. Были среди них серебряные, хрустальные, из слоновой кости, перламутровые, эбеновые, изогнутые роговые и крохотные из нефрита.

– Ты узнал их? – спросила она меня через стол. Когда я ответил, что нет, она добавила:

– Их подарил мне ты.

Потом села за рояль и запела, подыгрывая себе. Слова песни мучительно пробивались сквозь ароматический кокон вокруг её тела.

«Еще немного, и она пойдет танцевать, постукивая ложкой о ложку», – подумал я, слушая мелодию.

– Вы знаете, что она поет? – спросила меня третья дама.

– Нет! – ответил я, и это было правдой.

– Это песня «Последняя голубая среда» из вашего романа «Пейзаж, нарисованный чаем». А поёт её, как и в книге, сама героиня, Витача Милут, которая и пригласила вас сегодня вечером прийти к нам на ужин.

– Какими духами от неё пахнет?

– Это не запах духов, так проявляется её жажда жизни. Если вы посмотрите на её отражение в зеркале, то увидите, что этот аромат её жажды имеет цвет.

Я обернулся к иконе на зеркале и посмотрел через неё на Витачу Милут. Она сидела в голубом шаре аромата...

В этот момент на реке загудел пароход, звук гудка пересчитал все окна здания и спустился вниз по течению, в Дунай, а дубовая дверь открылась, и в комнату вошёл крупный человек без единого волоска на голове. Брови его топорщились, словно усы, а свой тяжелый взгляд, под которым стареешь, он прятал.

– Рядом с такими людьми ногти желтеют, а уши оттопыриваются, – заключил я.

Он приветствовал всех, не подавая руки, а меня пропустил. Сделал вид, что не видит. Одна из красавиц шепнула мне какое-то объяснение относительно того, кто этот новый гость, но я ничего не понял. Должно быть, именно его мы и ждали, потому что сразу же на стол вынесли посуду и мы занялись обедом, причем каждому действительно подавали свои блюда. Мне принесли на закуску белые маслины, фаршированные тоже маслинами, но чёрными, жареными. Я заметил, что у ложек черенками служили ключи.

– А кто же вы, простите мне этот вопрос? – обратился я к третьей красавице, сидящей за столом, которая до сих пор единственная из них обращалась ко мне на «вы». На это она вдруг тоже перешла на «ты»:

– Когда-то, в прошлом веке, ты любил и меня.

– И вас? Не припомню, однако вы не должны удивляться. Я давно уже не тот, что был в те прошлые времена. Скажу вам откровенно, я уже больше не являюсь автором собственных рассказов, всё меньше и меньше я остаюсь автором своих романов, и придет день, когда я окончательно перестану им быть. Но в конце концов, кто же тогда вы?

– «Я амулет. Если ты меня истратишь, не сможешь мною больше пользоваться. Если научишься, как снова меня наполнить, я снова буду тебе полезна. Но смотри, если амулет не служит тебе, это не значит, что он не служит кому-то другому»... Я – Ерисена Тенецки из твоего романа «Последняя любовь в Константинополе».

Опешив от её слов, я подумал: «Ведь последний раз я читал свои книги ещё в прошлом веке. Может, стоит перечитать? Кто его знает, кого там только сейчас нет...»

Тут Ерисена протянула мне книгу, раскрытую на странице сто двенадцать, где находились те самые слова об амулете, которые она только что произнесла. Я сделал вид, что хочу дотронуться до книги, но на самом деле мне хотелось прикоснуться к державшей её руке. Между тем мои пальцы прошли сквозь её руку и наткнулись на стоявшую перед ней тарелку. Я усмехнулся:

– Значит, я могу вас любить, но не могу к вам прикоснуться.

– Это не совсем так, – заметила на это Витача. – Ты вспомни то место из «Пейзажа, нарисованного чаем», где ты говоришь, что героини романа, те самые вампиры, хотя и не сосут твою кровь, но иногда приходят к тебе в сон и крадут немного с наслаждением пролитого мужского семени, чтобы оплодотворить фантазию... Мы пришли сюда потому, что заключили пари: если ты с нами поужинаешь, то, может быть, этой ночью увидишь во сне ту из нас, которую любишь больше, чем остальных. Господин, сидящий во главе стола, умеет читать сны и, следовательно, сможет помочь в нашем деле, поэтому мы его и пригласили. Этой ночью он схватит твой сон и расскажет нам, кого из нас троих там нашёл...

Тут я повернулся к мужчине за столом.

– Разумеется, ты и меня не узнал, – не глядя на меня, заметил он. Казалось, что он собирает свои тяжелые взгляды где-то внизу, может быть на полу.

– Неужели и с вами мы знакомы? – спросил я с похолодевшим сердцем.

В этот момент принцесса вскрикнула. Я тут же понял, что её быстрый, зелёный, глаз уже увидел что-то такое, что второй, фиолетовый, ещё только увидит вместе со всеми нами. Так оно и было.

– Я Аврам Бранкович, ловец снов, тот самый, которого ты трижды убил, – сказал безволосый человек.

Тут вскрикнули, прикрыв рот рукой, и две другие дамы, а до меня дошло, что чёрт сыграл со мной злую шутку, что не следовало мне здесь появляться и что на раздумья о том, что делать дальше, времени у меня совсем мало. И я сказал ему:

– Ввиду того что вы мертвы, о чем и сами только что заявили, объясните нам, каким образом вы сможете оказать этим дамам услуги ловца снов?

Бранкович ухмыльнулся и ответил:

– Разве тот, кто кого-то убил, обращается к убитому на «вы» подобно вам? Хорошо, не будем об этом. Я отвечу на твой вопрос относительно этих дам. Вспомни, ведь именно ты сказал как-то, что покойники, населяющие прошлое каждого человека, лежат в воспоминаниях как пленники или как проклятые. Они не могут измениться, не могут сделать ни одного шага, отличного от тех, что сделали когда-то при жизни, не могут встретиться ни с кем, с кем уже не встречались бы в прошлом, они не могут даже стареть. Единственная свобода, которая дана вашим предкам, целым умершим народам, состоящим из ваших отцов и матерей, – это свобода время от времени навещать вас, живых, в ваших снах. В них мы, покойники, лица из ваших воспоминаний, обретаем немного скудно оплаченной свободы, передвигаемся, встречаемся с какими-то новыми людьми, меняем партнеров в своей ненависти и любви и обретаем нечто похожее на видимость жизни. Так что, возможно, и сегодня вечером, благодаря навыкам ловца снов, я смогу оказаться полезным этим дамам.

– А разве ловцам снов удастся сохранить свое умение и свой дар даже после смерти? – перебил я его.

– Мёртвые не помнят, кем они были при жизни, – ответил Бранкович, – однако их дар остается при них и после завершения жизни, потому что любой дар более стар, чем человек, и он не угасает даже после его смерти. Так что я смогу этой ночью воспользоваться своим даром, и ты это ясно почувствуешь на собственной шкуре. И можешь даже не гадать, собираюсь ли я употребить мое мастерство против тебя или нет.

С этими словами кир Аврам встал, выпрямившись во весь свой рост. Огромный и безволосый, он был страшен, но я, тоже встав, решительно подвел под разговором чёрту:

– Я хорошо знаю, что именно могут сделать живым мёртвые, если проникнут в их сны. Мне очень жаль, дорогие дамы, но у меня нет намерения долее оставаться здесь.

– Безразлично, – тут же проговорил Бранкович, – останешься ли ты здесь или уйдешь отсюда, потому что всё это ты видишь во сне, а я нахожусь здесь оттого, что охочусь на тебя в твоих снах. И уже поймал тебя, а милейшим дамам могу сообщить, что они снились тебе все три вместе. Более того, это вовсе не твой сегодняшний сон, он какой-то зачерствевший, трех или четырехдневной давности, а может, и вообще прошлогодний, точно сказать не могу, да это не так уж и важно. Кроме того, не будь всё это сном, я вообще не смог бы здесь оказаться.

– Не верь ему, – сказала принцесса, обращаясь ко мне. – Ты находишься здесь, с нами, вовсе не потому, что видишь это во сне, не мы вышли из книги и вошли в твой сон, а наоборот – ты оказался в книге. Потому мы и встретились. Ты хотел увидеться с нами ещё раз, до того как умрешь. Пространство, в котором мы находимся, не сон, а книга. Это единственная осязаемая правда. Кроме того, будь даже так, как говорит он, у тебя больше нет причин для волнения. Потому что, если он отправился на охоту в твоих снах, ты бессилен ему помешать...

Эти слова привели меня в ужас. Пока принцесса говорила, я вдруг понял, что Аврам Бранкович меня не видит, ведь мёртвые не могут видеть живых, более того, мне даже показалось, что он, стоя за столом, видит меня во сне, то есть на самом деле охотится на меня. Не в силах больше выносить это, я метнулся к ближайшей двери, а ею оказалась дубовая дверь, ведущая в «Голубой дом», и взялся за ручку. В тот же миг на улице зазвонил трамвай «двойка» и кто-то с той стороны двери нажал на дверную ручку одновременно со мной...

• • •

(Улица Карагеоргия, 42)

Два человека, закутанные в длинные плащи, такие, какие давно больше не носят, а один ещё и в белом, украшенном множеством сверкающих камней тюрбане на голове, то есть одетые как для карнавала, искали в тот четверг неподалеку от маленького рынка, на улице Карагеоргия, дом под номером 42. Увидев табличку с нужным им номером, они вошли в обветшавшее, но всё ещё красивое двухэтажное здание, построенное в позапрошлом веке, с шестью окнами по фасаду, которое соседи называют «Голубым домом». В маленькой комнате под лестницей их поджидал человечек в пальто по моде шестидесятых годов, который, казалось, узнал их. Его глаза, похожие на соленых рыб, смерили сначала одного, потом другого. Потом он повел их на второй этаж и предложил сесть в стоявшие там старые кресла. Кресел было три. Сам он уселся на стул, чтобы казаться выше ростом, хотя одно из кресел, то, что у окна, оставалось свободным. Вместо картин по стенам комнаты висели в красивых рамках сильно увеличенные почтовые марки достоинством в двадцать пять пар и в половину динара. На одной из них, фиолетовой, был поясной портрет королевы Марии, на второй, оттенка сепии, король Александр Обренович с пенсне на носу, на третьей – король Петар I Карагеоргиевич.

– Известно ли, кто нас сюда позвал и зачем? – спросил, усаживаясь в кресло, более крупный господин. На голове у него не было ни единого волоса.

– Это я. Могу гарантировать, что вы обо мне никогда ничего не слышали, поэтому позвольте представиться. Доктор Исайло Сук. Профессор университета, хотя уже давно ничего не преподаю. Письма, которые вы получили, написал я, и спасибо, что вы на них откликнулись.

– А где же тот, ради которого мы пришли сюда? – спросил юноша с тюрбаном. – Вы уверены в том, что он появится? И сумеет ли кто-нибудь из нас его узнать?

– Будем надеяться, что нам это удастся. Уж собственного-то убийцу узнать, наверное, нетрудно, – ответил доктор Сук.

– Но кто нам может гарантировать, что вы вообще что-нибудь знаете о нас и о том, кого мы здесь ждем? – отозвался из своего кресла рыжий молодой человек с усами, один из которых был серебряным.

– Доказать это несложно. Вот взять, к примеру, вас, господин Коэн. Помните, как вы были убиты?

– Не помню. Такого никто не помнит. Собственная смерть не запоминается.

– Прекрасно, – продолжал доктор Сук. – Я напому вам, как вас убил тот, ради которого мы здесь собрались. Дело было в тысяча шестьсот восемьдесят девятом году, неподалеку от Кладова. Вы умерли во сне, который превратился в предсмертный хрип. В мгновение ока со всех вещей, окружавших вас, попадали их имена, словно это были их шапки, и мир предстал перед вами девственно чистым, как в первый день от Сотворения. Одни лишь

первые десять цифр и те буквы алфавита, которые обозначают глаголы, как золотые слезы сверкали над всем, что вас окружало. И тогда вы поняли, что номера десяти заповедей – это тоже глаголы и что их забывают последними, тогда, когда забывают свой язык, однако они продолжают существовать, как эхо, даже после того, как сами заповеди исчезают из памяти. В тот миг вы пробудились в собственную смерть... Так это было.

– Хорошо, это то, что касается меня, – ответил Коэн. И при этих словах на его лице заиграла улыбка. Улыбка, которая, казалось, триста лет пролежала в банке на замороженном счету, а теперь снова была пущена в оборот. – Однако, господин Сук, откуда вы можете знать, как он убил всех троих? – тут же добавил он. – Вы что же, были сразу во всех трех местах?

– Нет. Но этого и не требовалось. Потому что всех вас троих он убил в одном месте. И в одно время. Присутствующего здесь кира Аврама Бранковича он тоже убил на Дунае, неподалеку от Кладова, в том же тысяча шестьсот восемьдесят девятом году. Стояла весна, дул ветер, который заплетал в косички ивовые ветки, и все ивы, от Мориша до Тиссы и Дуная, стояли в таких косичках. Что-то похожее на стрелы вонзалось в ваше тело, кир Аврам, но события текли в обратном направлении, с каждой новой стрелой вы сначала чувствовали рану, потом укол, а потом боль исчезала, в воздухе слышался свист, а затем звон тетивы, пославшей стрелу. Так, умирая, вы пересчитывали стрелы – от первой до в Венеции в тысяча семьсот втором году, этот удар носит имя одной из звезд созвездия Овна...

– Так это вы там и прочитали, – заметил Масуди. – Однако я сомневаюсь, что в той же книге вы могли найти и описания смертей остальных, тех, кто погиб не от удара саблей.

– Разумеется, я нашёл это вовсе не там. Остальные смерти описаны в книге «Хазарский словарь». Другими словами, тот, кто вас убил, оставил подробный отчет о том, как это было сделано. Он задумал, осуществил да под конец ещё и описал эти убийства. И меня устранил тот же, кто и вас троих, так как в этой книге есть описание и моей смерти. Именно поэтому я изучил всё дело и собрал вас здесь.

– Пожалуй, пора уже рассказать, что вы планируете. И почему пригласили именно нас? – спросил Коэн.

– Вы в ваших смертях, вероятно, не помните, кем были и чем занимались при жизни. Но я это знаю. Вы ловцы снов. При жизни вы умели читать чужие сны, располагаться и обитать в них, как в собственном доме, и охотиться, гоня сквозь них свою жертву, ту, что вам назначена, – человека, вещь или животное. Некоторым из вас удавалось достичь самых глубоких глубин тайны, удавалось в чужих сновидениях приручать рыб, открывать двери чужих снов, заныривать в чужое забытие глубже кого бы то ни было, вплоть до самого Бога, потому что на дне каждого сна лежит Бог... Именно такие вы и были мне нужны, способные сделать то, что не могу сделать я, – отомстить за смерти, ваши и мою, тому, кто их задумал, осуществил и описал. Как вы это сделаете, мне трудно даже предположить, ведь я не ловец снов, но вам должно быть хорошо известно, как именно мёртвые могут навредить живым. Однако прежде, чем перейти к делу, хочу вам кое-что предложить. Видите эту дубовую дверь? Она ведет в соседнее здание, которое называют «Домом, выкрашенным чаем». Там, в этом доме, того же человека ждут к чаю дамы,

которые питают к нему совершенно другие чувства. Ввиду того что и им нужен ловец снов, правда по совершенно иным причинам, я предлагаю кире Авраму пройти туда, предложить им свои услуги и подождать прихода гостя. Таким образом, и там он от нас не уйдет.

Словно в ответ на его слова затрубил пароход, а Аврам Бранкович встал и, не говоря ни слова, прошёл через дубовую дверь в соседнее здание. В «Дом, выкрашенный чаем».

– Теперь мне остается только подождать, а вам придумать самый лучший способ действий, – заметил доктор Сук и посмотрел на стенные часы, которые, казалось, неожиданно и сильно проголодались.

– Мы можем сделать только одно, – проговорил Коэн. – Правда, не уверен, что от этого будет больше пользы, чем вреда.

– Ты имеешь в виду синдром Януса? – спросил Масуди.

– Да. То же самое может с ним сделать и кир Аврам. Мы дезинтегрируем в нем время. Удвоим нашего гостя. Разделим в нем мужское и женское время. И пусть он, такой удвоенный и расщепленный на собственные мужскую и женскую природу, проведет остаток жизни в попытках привести свои четыре руки и две головы в гармонию со своим одним сердцем. Таким образом, рано или поздно он сам себя подстережет в засаде...

– Это может получиться у нас даже раньше, чем он заснет, если мы сможем пробраться в один из его прежних снов...

С этими словами Коэн встал с кресла и посмотрел в окно. Там виднелась Сава с множеством светящихся пятен на дне. Было слышно, как по улице идет трамвай «двойка», как он спускается с калемегданского холма и подползает под мост. Коэн через занавеску прижал к стеклу муху и раздавил её.

– Откуда ты знаешь, что он придет сегодня вечером? – нарушил тишину Масуди. – Сколько нам его ждать? Всю ночь?

– Он приглашен, – сказал доктор Сук. – Что помешает ему появиться?

– Что он, сумасшедший, чтобы прийти? И сам знает, что от нас ему добра ждать не приходится, – заметил Коэн.

– Он придет не из-за нас. Придет из-за тех, кто собрался в соседнем здании, в доме номер сорок четыре. Их жизни он пощадил! Они примут его как благодетеля. Впрочем, мёртвые не могут видеть живых. Весьма возможно, что он уже заявился, сидит где-нибудь здесь, прямо в этой комнате, и слушает, о чем мы говорим. Или ужинает по соседству, в «Доме, выкрашенном чаем», с ещё несколькими гостями, среди которых находится и кир Аврам. Но это не может помешать нашим планам. Так что я предлагаю вам начать охоту.

В этот момент я, сидевший развалившись в кресле и с самого начала присутствовавший при этом разговоре, столкнулся с необходимостью что-то предпринять, чтобы не оказаться в роли объекта охоты. Причем я мог сделать это незаметно, ведь мёртвые не видят живых. Я осторожно пробрался между ними и подошёл к дубовой двери, готовясь

удрать. В тот момент, когда я взялся за дверную ручку, я услышал, как на улице зазвонил трамвай «двойка», и почувствовал, что дверь, к счастью, не заперта на ключ и что с той стороны, из «Дома, выкрашенного чаем», на ручку кто-то резко нажал...

• • •

КОМНАТА, В КОТОРОЙ ИСЧЕЗАЮТ ШАГИ

(Действие происходит в доме № 2 по улице Светозара Радича)

Давайте, я сначала представлюсь. Меня зовут Ингерина.

Я всегда испытывала чувство особой симпатии к Лене, героине этого рассказа, хотя она и относится к тем людям, которым при прощании приходится говорить «до свидания» по меньшей мере два раза. Но всё-таки у неё была акустическая душа, в которой эхо откликалось всегда дважды, с долгой тихой паузой между откликами. И, кроме того, обе мы жили в одном и том же рассказе.

– Бывает такой возраст, когда на ладони начинают расти усы. Сначала у мальчиков, а потом и у девочек. Такие усы не видны, однако всем известно и то, что они имеются, и то, почему они имеются. Те, у которых их ещё нет, услышав такую новость, смотрят себе на руки и так выдают свою тайну...

Так думала Лена, смеясь и поднимаясь по ступенькам дома номер два по улице Светозара Радича. Вход был со двора, там, где в каменную ограду сада был встроен великолепный камин из вытесанных блоков песчаника. Рядом с ним росла высокая туя, похожая на кипарис. Лена снимала здесь, на первом этаже, квартиру, а точнее, одну довольно большую комнату, наполненную речным ветром с Савы. Полки с книгами какого-то покойника закрывали все стены до потолка, а в углу стояла чья-то кровать с бесчисленными подушками и жесткая, как скамья. Книги были откормленными, как и любые книги, которые никто не читает. На одну из полок, прямо поверх книг, было приделано зеркало с дыркой в углу. Всё помещение пропахло кожей и давно выкуренными трубками. Когда-то оно было мужским. Сейчас через одно окно проникал запах паприкаша, а через другое – пригоревшего молока.

Въехав в квартиру, Лена вытащила из одного кармана кошку и спустила её на пол, а из другого – зубную щетку. Достала из рюкзака компьютер и поставила его на умывальник, в котором и так не было воды, а на окна вместо занавесок повесила два собственных летних платья. С того дня она каждую субботу уходила в зоопарк, он был недалеко от дома, и записывала там птичьи голоса. Начала она с чибиса и потом продолжила по списку, составленному из названий птиц, упоминающихся в произведениях Шекспира. Она хотела получить их общую песню и потом попытаться по ней что-то прочесть. А по четвергам она причесывалась на пробор, приклеивала на него нитку мелких стеклянных бус, которые свисали через лоб до переносицы, пускала на полную мощность музыку из фильма «Парк юрского периода» и собирала в этой комнате нас, своих однокурсников с факультета, где она училась. Эти сборища бывали у неё каждый четверг с одиннадцати вечера и до упора.

Помню первую такую посиделку, когда Павле Борнемиса неосторожно ляпнул, что Лена могла бы поставить нам ту самую запись с голосами птиц или рассказать, что снилось ей прошлой ночью...

Как и обычно, Лена не заставила долго себя упрашивать.

– Мне снился мрак, понимаешь! Вроде как иду я через кладбище, какой-то серый свет, тяжелее воздуха, оседает на крестах, а я словно ищу чью-то могилу, точно не знаю чью, но знаю, как она выглядит. Пробираюсь с трудом, ноги путаются в траве, но всё-таки как-то продвигаюсь и уже вижу – в сумерках белеет то, что я ищу, большое мраморное надгробие. На нем нет имени, но есть фотография, даже издалека хорошо видно овальную рамку в золотой каемке, как это обычно бывает на памятниках. Подхожу поближе, чтобы рассмотреть лицо, и просто столбенею на месте. Вместо фотографии в рамку на надгробном памятнике вставлено зеркальце. Чудесное хрустальное зеркальце. Знаю, что если посмотрюсь в него, там будет мрак, полный мрак, понимаешь, но что-то меня словно подталкивает или тянет заглянуть в зеркальце, понимаешь, прямо тянет. К тому же высота памятника ровно в рост человека, так что посмотреться легко, и я не могу удержаться и смотрю. А оттуда на меня глядит вовсе не мое, а чье-то чужое лицо. К тому же мужское. Тогда я улыбаюсь, чтобы проверить, кто всё-таки там, в зеркале, я или не я, но эта бородатая физиономия тоже улыбается, и при этом у типа во рту блестит золотой зуб... Просто полный мрак, понимаешь...

Я не любила подобные Ленины истории и, чтобы вдохнуть оживление в нашу вечеринку, сказала:

– Вы не поверите, но Игорь в прошлую пятницу целовался просто феноменально, с привкусом горячей белой шёлковицы... Прокопию это по-прежнему лучше всего удастся после выкуренной «гаваны», Ида совершенно незабываемо чмокалась, пока была беременна, а сейчас – ничего особенного.

– А Лиза?

– У Лизы лучше всего получается, когда она попеременно целуется то с мужчиной, то с женщиной. Что касается меня, я больше люблю делать это на глазах у компании, когда мы все в стае, вот как сегодня вечером...

– А у кого самые сладкие поцелуи?

– У Павле Борнемисы. Но он, правда, предпочитает делать это только наедине. Может быть, оттого, что знает французский. Те, кто говорит по-французски, целуются совсем не так, как другие. Впрочем, точно не знаю, например, с русскими я не целовалась, но предполагаю, что они делают это совсем не так, как те, что говорят тебе «добрый вечер!» по-итальянски.

– А я? – спросила меня Лена.

– Ты, Лена, вообще не умеешь целоваться, у тебя слюна соленая, – отрезала я, – и ты никогда не смотрела фильм «Третий мужчина». Ты только всегда и везде рассказываешь свои сны. И эти твои вечеринки ужасно скучные. Всегда одни и те же лица, никого нового.

– А кого ты мне предлагаешь пригласить?

– Ну давай позовем какого-нибудь читателя.

– Какого ещё читателя?

– Да хотя бы читателя этого рассказа. Почему бы ему не прийти? Видишь, как он уставился на нас! Слышит нас через три тишины. Вот бы узнать, как он целуется... И умеет ли ездить на велосипеде задом наперед, сидя на руле.

– А как его сюда привести?

– Вот это как раз нетрудно, – вмешался в разговор Павле Борнемиса, – пусть его найдет и пригласит Яуцин, он, как будущий издатель, разбирается в читательской братии. Кому же еще, как не издателю, заниматься поисками читателя?

– Хорошо, только, когда я его приведу, не накидывайтесь на него сразу с вопросами типа как его зовут. И становится ли он правым башмаком на левую штанину, когда стаскивает с себя брюки, или наоборот. Это неприлично. Читатели очень стыдливы. В один момент испаряются. Можете попросить его подписать какую-нибудь книгу, но никаких вопросов.

– Хорошо, а ты приведешь читателя или читательницу?

– Кого найду.

– А что, это редкие звери?

– Зависит от рассказа. Иногда их даже бывает много. Столько, что не поместилось бы в такую комнату, как эта.

– Только смотри, чтобы вместо читателя тебе не попался какой-нибудь сопляк с F. L. U.

– «Ну, это-то проверить как раз нетрудно. Пусть, когда я его приведу, Ингерина встанет напротив этого зеркала с дыркой и внимательно проследит, отразится ли читатель в зеркале. Если она не увидит там его лица, значит, он настоящий. Потому что читателя нельзя увидеть в бумажных зеркалах из книг, таких как наше».

Конечно, никто не поверил, что Яуцин выполнит свое обещание, однако в следующий четверг в комнату влетел Павле Борнемиса, вынул изо рта свою крепкую трубку и выпалил:

– Он пришёл!

– Кто пришёл?

– Читатель!

– Как он выглядит?

– В кожаной куртке, рукава блестят, как сапоги.

– Где ты его нашёл?

– Он сам пришёл, через камин в саду. Но отказывается войти. Представляете, эту комнату он называет комнатой, в которой исчезают шаги.

– Что он имеет в виду?

– Спросите сами. Он говорит, что уже бывал в ней. И что сделал здесь несколько шагов и потом их потерял.

– Врешь!

– Может быть, хотя, однако, в то время как между тем, должно быть, нет... Конечно вру.

Эти слова Павле вызвали взрыв смеха. И тут, к общему изумлению, вошёл Яуцин, за которым действительно следовал гость. Это был какой-то совершенно незнакомый нам чудной тип, немного моложе нас. Пока он по порядку знакомился с присутствующими, Павле шепнул мне:

– Если ты угостишь его сигаретой, то он сначала вытащит из кармана компас, чтобы определить, где юг, и только после этого закурит...

Я рассмеялась и встала рядом с продырявленным зеркалом, чтобы проверить, кто он такой. То есть читатель он или нет. В зеркале никого не было. Там просматривалась только его тень, распростертая по книгам, стоявшим на полке. Тут он рассмеялся, одновременно рассмеялась и его тень.

– В этом зеркале ему не удалось бы побриться, – заключила я. – Значит, он настоящий!

Когда все сели, Яуцин триумфально заявил:

– Вы мне не поверите, но наш гость знает автора этой истории!

После этих слов поднялся невероятный галдеж, а Лена прямо спросила:

– Разве у нашей истории есть автор? – в ответ на что все засмеялись, а читатель сказал, что да, есть, что он видел его один или даже, может быть, два раза и даже с ним вместе, в компании, пил кофе...

– А он что-нибудь сказал?

– Да.

– Может быть, сказал что-то в связи с какой-нибудь своей историей?

– Вот именно. Дело было так.

• • •

– Знаете, когда человек бывает самым умным? – спросил нас писатель в тот вечер за кофе. – Не знаете? Ну так я вам скажу. Нужно взять с килограмм медовой ракии, той самой, от которой и на третий день валишься со стула, немного очищенных яблок сорта «петровача» и соленых огурцов. Пить нужно из самых маленьких, крошечных, рюмочек, медленно, в обществе одного, самое большее – двух настоящих друзей. И обязательно с хлебом. Выпить всё, лечь спать, и, когда во сне с тебя сойдет похмелье, проснешься умнее, чем когда бы то ни было. Но имейте в виду, длится это недолго. Постоянно быть самым умным не может никто... И вот вчера взяли мы с Алексой медовой ракии, выпили, и уже под утро я отправился домой проспаться. Заснул, во сне освободился от похмелья, как это и должно быть, но проснуться никак не мог. Сплю, сплю, во сне разгоняю хлопучками для фейерверков каких-то лошадей, как тут из мрака возникает женская рука и будит меня из сна. Я в ужасе вскакиваю и спрашиваю:

– Кто ты такая?

– Я – твоя история, – отвечает из темноты женский голос.

– Какая ещё моя история?

– Понятия не имею. Ты меня ещё не написал.

Я пытаюсь нащупать выключатель, чтобы зажечь свет, а она говорит:

– Не зажигай!

– Но я хочу тебя увидеть, – отвечаю я и чувствую через темноту, как чудесно пахнет эта рука, которая меня тербит.

– Если ты не видишь меня в темноте, то не увидишь никогда.

– Так что же мне делать?

– Вот уж глупый вопрос! Включай компьютер, а не то я уйду к кому-нибудь другому.

«Шутки нет», – подумал я, а мои мысли, чистые и быстрые, рванулись в сторону утра, которое уже стучало в окно стеклянными перстнями. Это та самая мудрость, о которой я вам говорил. Похожая на молнию или солнечное молоко. Я включил компьютер и написал историю.

– Расскажи!

– Не могу, её больше нет.

– Что, улизнула?

– Нет. Напротив. Она прекрасно удалась, словно кто-то вел мою руку. Когда я её закончил, уже рассвело, но я, усталый и довольный, прилег ещё немного подремать,

однако вскоре меня разбудило поросячье верещание холодильника, у которого включился мотор. Тут я, полусонный и всё ещё валяясь в кровати, услышал, что в полумраке комнаты кто-то жует. Встал, осмотрел комнату – ничего. Снова лег, и снова кто-то зажевал, – кажется, возле стола. Слышно было прекрасно, даже кости на зубах трещали. Разозлившись, я вскочил и зажег свет. И увидел, что компьютер пожирает мою историю...

«Что это ты делаешь?» – спросил я его потрясенно, а он ответил: «Писатель, который умнее своих историй, ошибся в выборе профессии».

– Это означает, что рассказа больше нет? – спросили в один голос все, кто слушал писателя.

– Да, его нет, – ответил он, – или, точнее было бы сказать, то, что осталось от истории, я назвал «комнатой, в которой исчезают шаги»...

После этих слов общий интерес резко пошёл на убыль. Напрасно читатель пытался рассказывать, что, услышав от писателя этот рассказ, он тут же взялся читать ту историю, о которой шла речь, напрасно Лена предлагала гостям виноград, хлеб и ракию – разочарования было уже не рассеять. Обнаружилось, что Яуцин умнее читателя, что я в эротическом смысле опытнее его, а апофеозом стал тот момент, когда мы начали кормить у окна галок, которые прилетели в сад с берега реки. Читателя они совершенно не боялись, оказалось, что они его просто не замечают. Птицы вели себя так, словно он не существует, а он схватил одну из них за ногу. Галка улетела, даже не почувствовав, что он её держит. После этого читатель развалился в кресле, усевшись прямо на Ленину кошку, которая этого не заметила, и начал делиться своими воспоминаниями.

И тут возникло ощущение волшебства. Читатель не только умел складно говорить, ему просто необходимо было высказаться, потому что в противном случае он, казалось, просто лопнул бы по швам. Напряжение нарастало, мы просили его продолжать дальше, некоторые из девушек прослезились, потому что история была о любви, но тут вдруг прямо посреди фразы Павле Борнемиса перебил его, торжественным тоном заявив:

– Да он просто пересказывает нам фильмы. Это вовсе не его воспоминания, а фильм «Касабланка». А то, что он рассказывал до этого, сначала был «Рублев», а потом Бергман, «Фанни и Александр»...

– Довольно лежалый товар для того, кто так хорошо целуется, – сказала я.

На этом вечеринка закончилась. Тем не менее читателя пригласили прийти в следующий раз, а я, провожая его до двери, скромно подумала: «Кто знает, может, лучшая пища – это вода, а лучшее питье – воздух...» Лучшие, вероятно, отправились к лучшим, а нам и такой-то едва достался.

...

Однажды осенним вечером, снова ожидая гостей, Лена смотрела, как на речной берег слетаются галки, тяжелые и пузатые, словно они беременны. Когда стемнело, она принялась раскладывать пасьянс и рассматривать, что говорят ей карты, которые смотрят влево и видят прошлое. Лена, так же как и мы, плохо знала свое прошлое. Поэтому она и гадала о нем. Было уже поздно, и Лена удивлялась, что никого из нас нет. Тут кто-то позвонил в дверь и появился читатель. Он держал в руках бутылку пива и бумажный стаканчик.

– Удивительно, что не пришли, как обычно, и остальные, ведь сегодня четверг, – сказала Лена.

– Потому что сегодня среда, – заметил читатель, развалился в кресле, опять прямо на кошке, и налил себе в стаканчик пива. Лену удивило, что он пьет один, а ей даже не предлагает, и она спросила его, почему он пришёл в среду.

– Не дочитал рассказ, ну и решил, ладно, пойду-ка сегодня. Я хорошо помню день, когда начал читать его. Здесь ещё никого не было, только ты и эта комната. Я помню, как здесь были расположены все вещи в тот момент, когда я читал. Помню, как из одного окна пахло паприкашем, а из другого несло пригоревшим молоком, помню, как прервали мое чтение и мне пришлось спуститься в подвал. А читать было так хорошо. Ладно, не будем больше об этом...

– Мне кажется, – перебила его Лена, – в прошлый раз у тебя были чёрные глаза, а не желтые.

– Вполне возможно, – ответил он и добавил: – Скажи, что тебе снилось этой ночью? Я знаю, ты любишь рассказывать сны.

– Откуда ты знаешь, что я люблю рассказывать сны?

– Так я же об этом прочитал.

– Где?

– Как «где»? В этом рассказе.

– Всё это Ингерина наврала. Дело, к сожалению, обстоит совсем не так. Я вообще не умею видеть сны. Каждую ночь кто-то идет впереди меня и открывает двери моих снов, но я не умею в них войти. Не умею оттого, что я такой создана. Я никогда не видела ни одного сна. К сожалению. Потому что Бог заглядывает не в наши мысли, а в наши сны. Он сидит там и ждет, когда мы появимся, и Он будет любить нас. А я этого лишена... Наверное, именно поэтому я и люблю рассказывать сны. Но так как своих у меня нет, мне приходится их выдумывать или пересказывать чужие. Но ведь тебя интересует мой, а не чей-то чужой сон, правда?

– Это действительно неприятно. А я могу тебе как-то помочь?

– Можешь. Мои друзья всё время упоминают один фильм, который смотрели все, кроме меня. Вот бы ты мне его рассказал!

– Какой? – нетерпеливо спросил читатель.

– «Третий мужчина». Ты его смотрел?

– А как же, конечно смотрел. Два раза. Это мой самый любимый фильм.

– Всего два раза? – спросила Лена.

– Два раза в день. В Кинотеке. Сначала на дневном сеансе, а потом на вечернем. И так целый месяц. Потом его больше не показывали.

И тут читатель начал пересказывать Лене фильм «Третий мужчина».

Где-то в середине рассказа Лена прервала его вопросом. Так что он не успел познакомить её с той частью фильма, где Орсон Уэллс и Джозеф Коттон встречаются на огромном колесе обозрения посреди венского Пратера. Вопрос Лены был таким:

– А этот Орсон Уэллс, он что, был против детей?

– Ну не он лично, а этот образ из фильма.

– Что это за «образ из фильма»?

– Что-то вроде тебя в этом рассказе.

– Правда? А Расскажи, как там у вас, снаружи? Как в фильме? Или как здесь, в книге?

– Как тебе сказать... Времена года у нас не такие, как здесь. У вас здесь сейчас осень, птицы летят через дождь, паутина мокрая, а у нас, там, весна.

Он смотрел сквозь неё как сквозь воду.

– Я не это имела в виду. Как вы там живёте? – спросила Лена.

– Жизнь болезненна. Каждое мое движение – ошибка, каждое мое слово – ошибка. И за каждую из этих ошибок приходится дорого платить... Будущее у нас похоже на какую-то бескрайнюю бессонницу, а человек на улитку, его слизистое прошлое тянется за ним, как прозрачный след, а будущее ему приходится взваливать себе на плечи, как домик, в который он скрючившись забирается каждый вечер, чтобы переночевать...

– Ух ты, блин, здорово у тебя получилось... Но я вовсе не про это спрашивала. Правда ли, что у вас там сейчас война, падают бомбы и нет больше телебашни на Авале и мостов в Нови-Саде?

– Да. Это правда.

– А погибнуть кто-нибудь может?

– Может.

– И ты?

– Любой может.

– Не возвращайся туда. Оставайся у меня ночевать. Здесь, в моем рассказе, ты в безопасности.

Он улыбнулся. Она сжала его руку... И тут же почувствовала, как от её прикосновения его рука начала расти. Она росла всё больше и больше. Потом она почувствовала, что на её ладони, той, которой она касалась его руки, начали прорастать усы. Читатель поцеловал её, и, когда он в неё проник, она почувствовала, как там, в ней, глубоко внутри, бьется его огромное сердце.

Потом они оба заснули. Во сне он постоянно старался прижаться к ней, так что под конец Лена оказалась на самом краю постели. Чтобы не упасть, она встала, обошла кровать и легла с другой стороны, за спиной читателя.

Когда она проснулась, его не было. В ближайший четверг он не пришёл. Он не пришёл больше никогда. – Почему не заходит твой любимый читатель? – спросила Ида у Лены в один из четвергов.

– А зачем ему приходиться? – вмешалась я, потому что всегда могу прочесть по лицу, кто с кем целовался. – Он отлично целуется, – добавила я, – а Лена целоваться не умеет. Что ему здесь делать? Давайте теперь позовем какую-нибудь читательницу и подсунем ей Павле Борнемису. Он ей наверняка понравится, и она не улизнет, как Ленин кавалер...

– Может, наш читатель погиб, поэтому его и нет, – задумчиво сказал Павле Борнемиса, и Лена при этих словах вздрогнула. По вечерам она иногда вспоминала недорассказанный фильм и вкус поцелуя, который читатель оставил в ней. Она вспоминала его взгляд, который долго добирался до неё, по пути меняя цвет: жёлтый, голубой, зелёный, сине-зелёный, белесый, красный, чёрный, и – хоп! – останавливался на Лене. И читатель тогда казался волшебным драгоценным камнем, который сияет ей... Иногда она шептала:

– Когда приходит время ужина, будь добр и думай обо мне. Это станет для меня пищей. А утром, на завтрак, улыбнись мне...

...

Зима состарилась, Лениной беременности шёл уже седьмой месяц, она чувствовала, как под сердцем у неё шевелится маленькое новое существо. Она была счастлива, и ей казалось, что она стала похожа на стрелку компаса, которая показывает правильное направление пути. И тут с ней произошло нечто неслыханное. Впервые в жизни она увидела сон. Ей снилась ночь и в ночи огромное колесо со множеством светящихся кабинок. Оно вращалось, как карусель... Полный мрак, понимаешь! Проснувшись, она была сама не своя от счастья. «Счастье – это единственная бесплатная вещь на свете», – подумала Лена. Тут проснулся и шевельнулся в ней её ребенок. От этого чудесного, едва ощутимого движения Лену пронзила мысль, что сон приснился не ей, потому что она не умеет видеть сны, – колесо во сне видел её ребенок.

Так как читатель не до конца рассказал ей фильм, Лена не могла знать, что ребенок, спавший в ней, видел во сне одну из заключительных сцен фильма «Третий мужчина». Тот самый, недорассказанный, фрагмент, который читатель унес, оставив в ней свое семя...

• • • •

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Сербский писатель и генерал при Екатерине Великой, Симеон Пишчевич, арестовал графов Ржевуских, отца и сына, принадлежавших к этому же роду, в Варшаве в 1767 г. и отправил их в заключение из-за того, что они выступили против присоединения, которое, между прочим, сам Пишчевич тоже не одобрял.

2 См. переписку Бальзака с графинями Ржевускими, которая была опубликована в 1969 г. в Париже.

3 Сделанный Пушкиным рисунок, на котором изображена Амалия Ризнич, можно увидеть в музее Царскосельского лицея в нынешнем городе Пушкине, неподалеку от Санкт-Петербурга. Рисунок сделан в рукописи романа в стихах «Евгений Онегин».

4 Наисус – древнее название реки Нишавы, протекающей через современный югославский город Ниш. (Здесь и далее – прим. автора.)

5 Дунай.

6 Римский город при впадении реки Млавы в Дунай, близ современного югославского городка Костолац. Впервые упоминается и 86 г. до н. э.

7 Римский город, бывший на месте теперешней столицы Югославии Белграда. Найденные при раскопках предметы быта и искусства хранятся в Национальном музее Белграда.

8 Завтра, завтра, всегда завтра... (лат.)

9 Управляющий монетным двором (лат.).

10 В древнегреческой мифологии чудовище в виде девы, увлекающее за собой свои жертвы.

11 Библия. Откр. 12:12.

12 Древнее название города Сисак в современной Хорватии.

13 Античный город на реке Вардар (современная Македония).

• • •

ОГЛАВЛЕНИЕ

Милорад Павич.....	1
ПЬЯНЫЙ ХЛЕБ.....	1
(...истории любви).....	1
ОДИННАДЦАТЫЙ ПАЛЕЦ.....	2
ИСТОРИЯ О ДУШЕ И ТЕЛЕ.....	9
ДОЛГОЕ НОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ.....	14
КОРСЕТ.....	18
1.....	18
2.....	22
РАССКАЗ СЛУЖАНКИ СЕЛЕНЫ.....	26
3.....	27
4.....	29
СВОДНЫЙ БРАТ.....	32
РУССКАЯ БОРЗАЯ.....	39
ГРЯЗИ.....	46
ШЛЯПА ИЗ РЫБЬЕЙ ЧЕШУИ.....	58
I.....	58
II.....	59
III.....	61
IV.....	63
V.....	64
VI.....	66
VII.....	68
VIII.....	71
IX.....	74
X.....	76
ТРЁХСПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ.....	78
1.....	78
2.....	81
3.....	83
4.....	86
ДУШИ КУПАЮТСЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ.....	88

ОТГЛАЖЕННЫЕ ВОЛОСЫ.....	91
ДВА СТУДЕНТА ИЗ ИРАКА.....	95
1.....	95
2.....	98
3.....	101
РАССКАЗЫ С САВСКОГО СКЛОНА	105
ТУНИССКАЯ БЕЛАЯ КЛЕТКА В ФОРМЕ ПАГОДЫ	105
ВОЛШЕБНЫЙ ИСТОЧНИК.....	112
ЖИТИЕ.....	118
ЖИТИЕ БАРЫШНИ ДАЛАСЕНЫ	119
НАЧАЛО РАЗГОВОРА В ДОМЕ НОМЕР 59 НА УЛИЦЕ КАРАГЕОРГИЯ	120
ПЛАЗМА L.	120
ОТЕЦ.....	121
ПЕРЕНОС ПЛАЗМЫ L.	121
СРОК И УСЛОВИЯ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ	122
КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ НОВОРОЖДЕННЫЙ?	124
ЛОВЦЫ СНОВ.....	126
ДВА ПИСЬМА	126
ДОМ, ВЫКРАШЕННЫЙ ЧАЕМ.....	128
ГОЛУБОЙ ДОМ	133
КОМНАТА, В КОТОРОЙ ИСЧЕЗАЮТ ШАГИ.....	137
ИСТОРИЯ ОБ ИСТОРИИ.....	141
ПРИМЕЧАНИЯ	146
ОГЛАВЛЕНИЕ	147

• • •